

Н 521
КД
Б 1278819

ISSN 0320-7447



АЛТАЙ

2. 1987

61278819

A 521
кр.

АЛТАЙ

1987

2

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ АЛЬМАНАХ
АЛТАЙСКОЙ КРАЕВОЙ
ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Издается с 1947 года

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Иван ПРИМАКОВ. Партийная характеристика. Повесть	3
Леонид ЕРШОВ. Два рассказа	43
Виталий СТЕПАНОВ. Лето в Нижне-Озерном. Из записок публициста	60

ПОЭЗИЯ

Игорь ПАНТЮХОВ. Корабль друзей	36
Вильям ОЗОЛИН. Стихи разных лет	40
Борис КАПУСТИН. «Научись кормить снегирей». Стихи	54
Геннадий ВОЛОДИН. «...Понять язык своей души»	57
Александр ГУСЕВ. «Ведь мы живые, мы не из металла!» Стихи	93

ОЧЕРК, ПУБЛИЦИСТИКА

Николай ШЕРСТНЕВ. Ответственность	95
---	----

КРИТИКА

Вячеслав ВОЗЧИКОВ. Заветы отчего дома	103
Владимир КАЗАКОВ. Книги и герои. К 60-летию со дня рождения В. Сидорова	107

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Виктор ПЛЕСОВСКИЙ. От весны и до зимы. Стихи	111
--	-----

БАРНАУ. АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО. 1987

АЛТАЙ

1987

2

ВСТУПАЮЩИЙ КОЛЛЕКТИВ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ОПОРНО-ПОДСОПОРКА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
И РЕГИОНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО

СОДЕРЖАНИЕ

Главный редактор И. П. КУДИНОВ

Редакционная коллегия:

В. М. БАШУНОВ, В. Ф. ГОРН, Е. Г. ГУШИН,
Л. И. КВИН, Ю. Я. КОЗЛОВ, Я. Е. КРИВОНОСОВ,
Н. И. МОРОЗОВ, Г. П. ПАНОВ, В. В. СУКАЧЕВ
(зам. гл. редактора)



Б 1278819

АЛЬМАНАХ «АЛТАЙ» 1987 № 2

Художественный редактор В. Еранкин. Технический редактор М. Сафонова.
Корректоры Г. Ульченко, Н. Тырышкина

Рукописи не возвращаются

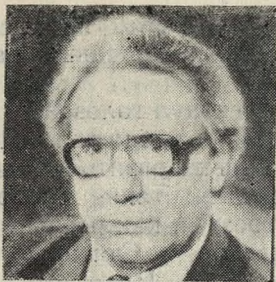
АГ 00926. Сдано в набор 15. 04. 1987 г. Подписано к печати 23. 06. 1987 г. Формат 70x108/16. Бумага тип. № 1. Усл. печ. л. 9,8. Усл. кр.-отт. 10,15. Уч.-изд. л. 11,256. Тираж 5000 экз. Заказ № 1109. Цена 50 коп.

Алтайское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли — 656015, Барнаул, Ленина, 76.

Производственное объединение «Полиграфист» управления издательств, полиграфии и книжной торговли крайисполкома — 656023, Барнаул, Г. Титова, 3.

Адрес редакции: 656099, Барнаул, пр. Строителей, 11-а. Тел. 2-14-53

© «Алтай», № 2, 1987.



Примаков Иван Иванович родился в 1936 году на Алтае. Окончил Славгородский сельскохозяйственный техникум, а позже — заочное отделение Алтайского сельскохозяйственного института. Работал главным зоотехником колхоза «Сибирь» Егорьевского района, госинспектором госзаготинспекции, директором Егорьевской инкубаторной станции. В настоящее время — главный зоотехник совхоза «Леньковский».
Публикуется в альманахе впервые.

Иван ПРИМАКОВ

ПАРТИЙНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОВЕСТЬ

1.

За стенами конторы дышало и плескалось цветочным ароматом жаркое зеленое лето. Несмотря на предвечерние часы, жара не спадала. В распахнутые окна иногда проникал свежий разогретый воздух. Но он не приносил облегчения.

И члены парткома, расположившиеся за одним длинным столом, и приглашенные, одинаково утомленные духотой, обливались потом и обмахивали себя блокнотами, бумажными листками и просто ладонями. Все, с нетерпением поглядывая на часы, ждали конца этого хотя и важного, но сильно затянувшегося расширенного заседания парткома. Заканчивалось обсуждение главного вопроса — хода сенозаготовок.

Вначале доложил обстановку главный агроном Сергей Иванович Рохин, потом выступили управляющие, агрономы и техническая служба всех трех отделений. Последним как бы подвел черту директор совхоза Павел Ильич Артюхов. Обычно после директора — так было всегда — выступать не полагалось. Но секретарь парткома Вадим Григорьевич Гришаковский, соблюдая этикет, снова спросил:

— Может, еще кто желает высказаться?

И тогда попросил слово Борне Романович Волохов, член парткома, он же главный зоотехник совхоза, он же председатель группы народного контроля. Встал, энергично обмахнув носовым платком потный лоб с двумя продольными морщинами, поправил движением руки густые седеющие волосы.

— Товарищи, я вот о чем хочу сказать. Вчера группой народного контроля второго отделения, в которой участвовал я сам, были проведены эксперименты. Вы знаете, что у сеновалов всех трех отделений установлены наземные весы. И въезд на них и спуск имеют большие уклоны. Представьте, въезжает на весы трактор ДТ-75 со сцепом двух тележек — расцеплять их некогда и некому. Потому они и не расцепляются. Когда взвешивается первая тележка, с одной стороны ее на уклоне висит трактор, с другой — вторая тележка, которые давят, увеличивая вес своими натягами на уклонах. Точно такое же происходит со второй тележкой. Мы взвешивали их как в сцепленном, так и в расцепленном состоянии. Разница получилась в три центнера. То есть трактор ДТ-75 сцепом двух тележек за один рейс завозит в сеновал три центнера липового сена — есть цифры и нет фактически... «Кировец» завозит еще больше!.. Вчера я спрашиваю члена нашего парткома Владимира Кухленко — он перед вами: можешь ли, когда опускаешь для взвешивания

вания опорную лапу большой тракторной тележки, надавить на весы гидравликой сильнее?.. «Могу не только надавить, но и продавить насквозь весовую площадку», — его ответ.

Кухленко в знак подтверждения несколько раз кивнул головой.

— Если б у нас были все честные трактористы, — продолжал Волохов, — а то ведь есть и такие, которые не прочь меньше возить и больше давить на весы гидравликой!.. Хочу предупредить: такие номера больше не пройдут! Прошу понимать это не как угрозу, а как реальный шаг к истине. И вот еще что, — добавил, чуть помедлив. — Считаю, что выдачу сена рабочим зимой из сеновала пора прекратить. Надо искоренить у людей иждивенческое настроение...

Волохов сел. По залу, нарастая, побежал шум. Речь Волохова задела почти каждого сидящего. Артюхов нервно подергал галстук, ослабил ворот рубашки, — мало воздуха — и подумал: «Заигрывает с народом... И говорит, как директор совхоза. Больно много на себя берет. Уж не метит ли на мое место?»

Чувствуя серьезность выдвинутых вопросов, Гришаковский повернулся к сидевшему рядом Артюхову:

— Павел Ильич, как вы считаете?..

— Считаю, что... — Артюхов задумался, трогая опять галстук, — что нужно изучить в рабочем порядке, обсудить и, возможно, принять... при одном условии: если будет заготовлено сена не менее восьмидесяти процентов плана... Это по первому вопросу. Что касается второго, то... я создам нынче комиссию по оприходованию сена без Волохова и Рохина.

После утверждения проекта решения Гришаковский посмотрел на часы.

— И последний вопрос нашей повестки — выборы кандидата на пост секретаря парткома...

Гришаковский сознательно сделал паузу. На его цветущем, чисто выбритом лице здорового двадцативосьмилетнего мужчины скользнула показная улыбка — сам Вадим Григорьевич был избран секретарем год назад после ухода на пенсию предшественника, у которого проходил в кандидатах без малого три года.

Воспользовавшись паузой, из зала бросил могучим басом управляющий первым отделением Василий Устинович Маркушин:

— Насколько я помню, мы утверждали на собрании кандидатом главного инженера.

Совершенно седой крупнотелый Маркушин — человек-гора, как звали его сельчане, был всегда логичен и последователен в суждениях, все недоразумения любил устранять сразу.

— Правильно, товарищи, — Гришаковский снова улыбнулся серыми глазами. — Но согласно решений двадцать седьмого съезда нашей партии и рекомендации райкома в кадровой политике требуется утвердить вторую кандидатуру. Простым, открытым голосованием. Как говорится, тайн делать из этого не рекомендуют... У кого какие будут предложения?

— У вас, наверно, кандидатура подобрана — говорите да заканчивать будем! — нетерпеливо сказал Маркушин.

— Правильно, чего тянуть время! — поддержал управляющего Артюхов, энергично взмахивая блокнотом. Артюхов не любил обсуждать установки, спускаемые сверху, спускаются, значит, надо не обсуждать, а выполнять. — Говори, кого наметили, Вадим Григорьевич!

— Мы посоветовались и решили предложить на ваше усмотрение кандидатуру Рохина Сергея Ивановича, нашего заслуженного агронома республики, — с нажимом уточнил Гришаковский.

Рохин сидел в первом ряду среди приглашенных, чванливо развалившись, стиснутый боковинками кресла, на его широком смуглом лице, как и в светло-коричневых глазах, застыли скука и нетерпение. Когда

назвали его фамилию, Волохов, как враждующая сторона, устремил изучающий взгляд на еще молодое, почти круглое, без морщин лицо главного агронома, которое в эту минуту дрогнуло и наполнилось снисходительной улыбкой, принимая выдвижение как должное.

— Пойдет, — сказал тихо и внятно с подкупающей улыбкой член парткома прораб Васенин. Он недавно вышел на работу после перенесенного инфаркта, потому следовал мудрому совету врачей — почти всегда улыбался.

Мнение остальных членов парткома, если не считать Артюхова и Гришаковского, было неясно.

Вадим Григорьевич повернулся к сидевшей рядом с ним подпудренной и подкрашенной заведующей отделом кадров Кривенцовой:

— Валентина Яковлевна, ваше мнение?

— Я согласна, — опуская глаза, сказала Кривенцова.

— Владимир Данилович, вы?

— Я тоже, — поспешно, краснея от непривычки, что его называют по имени-отчеству и на «вы», повторил за Кривенцовой Кухленко — лучший молодой тракторист совхоза.

— Борис Романович, вы?

Волохов, сидевший на другом конце стола, какое-то мгновение медлил, словно обдумывал говорить или нет, потом заявил с непоколебимой твердостью:

— Я буду против.

Зал настороженно замер. У Гришаковского поднялись брови и помимо воли вырвался естественный удивленный вопрос:

— Но почему?

2.

Переезд Волохова в совхоз «Рассвет» не был неожиданным. Решался он долго, в течение многих лет. Каждый раз, когда он приезжал в очередной отпуск к своему родному брату Василию, почетному механизатору совхоза, а также к матери, жившей у брата, Борис Романович неизменно встречался с Артюховым, у которого почему-то не держались в хозяйстве главные зоотехники. Отработав год-два, они подавали заявления и уходили. Оттого совхоз систематически проваливал государственные планы по мясу, шерсти и только кое-как, с помощью закупок у населения, вытягивал по молоку. Эту постоянную недоработку Артюхов полностью относил на отсутствие в хозяйстве грамотного, опытного и смелого главного зоотехника. Потому каждый раз при встрече Волохов слышал от Артюхова почти одно и то же:

— Переезжай — не пожалейшь, Борис Романович. Мне нужен именно такой, как ты: опытный, уверенный, строгий. Чувствую, что ты зубы съел на этой работе, правильно подмечаешь наши животноводческие недостатки... У нас пойдет с тобой как по маслу! Будем планы государственных делать! Понимаешь, некому этим делом постоянно руководить — глаза нет! Квартиру сразу получишь: хочешь — новую со всеми удобствами, отопление, правда, местное, хочешь — обжитую, хотя не совсем удачную в планировке, но с центральным отоплением, водой, газом!.. Я, Борис Романович, инженер по образованию, вполне допускаю, что недопонимаю в животноводстве. Но скажу одно: кукуруза у нас лучшая в районе родится — силоса всегда хватает, даже часто продаем соседям. Сена всегда заготавливаем плановое количество, но расходует, должен сказать, бесконтрольно, без хозяйского глаза, потому всегда не хватает. А был бы толковый главный зоотехник, он так бы рассчитал, что до июня хватило... А какие у нас животноводческие помещения?! Лучшие в районе — это все отмечают! Переезжай, не раздумывай, пока место у меня свободно...

Как и большинство директоров, проработавших на должности полтора десятка лет, Артюхов при своем среднем росте имел живот и склад-

ки под подбородком. Однако излишками веса сильно не тяготился, был достаточно бодр, подвижен и напорист в своих действиях. Глядя на него, не дашь пятидесяти пяти лет, хотя уже начинал подумывать о пенсии. По крайней мере, выглядел он не старше, если не моложе Волохова.

В конце концов Волохов поверил Артюхову, который понравился ему тем, как говорил о животноводстве — прямо, уверенно, заинтересованно и откровенно. Самое главное, что оценил Волохов в нем, — откровенность. Если сожалел — откровенно, о недостатках говорил — откровенно, восторгался животноводческими помещениями — тоже откровенно. Не у каждого руководителя это встретишь. Откровенность объединяет, мобилизует и направляет силы, — так думал Волохов.

Последний раз должность главного зоотехника в совхозе была свободной семь месяцев, и Волохов, получив через брата торопливую записку Артюхова, решился на переезд.

3.

Но уже после окончания первой зимовки у Волохова сложилось твердое убеждение, что Артюхов тоже греется на агрономической славе — нахваливая Рохина, не обходили и директора. Во главе хозяйства стоял-то Артюхов и формально направлял работу главного агронома. Если абсолютное большинство директоров района ругают и наказывают в управлении за крупные ошибки в полеводстве и животноводстве, то Артюхова хвалят за первое и журят за слабость второго. У многих сплошные убытки, а у него благодаря полеводству в целом по хозяйству хотя и небольшая, часто прибиль появляется.

В прошедшей зимовке совхоз «Рассвет» поднялся в надоях молока на фуражную корову на полторы сотни килограммов. Артюхов радовался: «Наконец-то надои сдвинулись с заколдованного места!» Сказалось появление в хозяйстве Волохова — улучшилась организация и дисциплина на фермах. Но не все было хорошо. В середине февраля, после выдачи из сеновала рабочим совхоза, сено пришлось исключить из рациона, так как оставшегося едва могло хватить молодняку.

Волохов терялся в догадках: сено выдавалось строго по лимитам и через весы, выданное рабочим было исключено из расчетов — куда же оно девалось? Вот тебе и опыт главного зоотехника! Сена не хватило почти на три месяца зимовки, а по отчетам его хватало до июня.

Наступило время большого молока, а оно прибывало слишком медленно. Коровы из-за плохого корма, избытка в рационе силоса теряли упитанность, таяли на глазах. Начался падеж телят. Особенно он усилился в апреле и мае. Волохов, сравнивая результаты своей первой зимовки с прошлогодней, был недоволен — не так уж далеко ушли вперед. Было обидно. Обидно еще и потому, что управление во время отчетов продолжало хвалить совхоз «Рассвет» за правильное, экономное расходование кормов. Разумеется, оно судило по отчетным цифрам.

Тогда Волохов решил проверить вес заготовленного сена предстоящей осенью, то есть провести инвентаризацию скирд по состоянию на первое октября путем их обмеров. Что если его летом не довели в сеновал? Естественно, тогда и он ошибется. Чтобы правильно рассчитать расход по всем месяцам зимовки, нужно знать точное его количество.

От Волохова не ушел тот факт, что летом по условиям социалистического соревнования на заготовке кормов директор совхоза Артюхов, секретарь парткома Савельев и главный агроном Рохин были награждены за первенство из фонда материального поощрения каждый по окладу.

Осенью, задолго до начала октября, Волохов пришел в кабинет Артюхова.

— Павел Ильич, надеюсь вы знаете, что есть специальное указание,

которое предписывает уточнять вес заготовленных кормов в сеновалах путем обмеров. Давайте нынче обмеряем, уточним...

— Не понимаю, для чего это нужно делать, — сказал Артюхов.

— Чтобы исключить приписки и не вводить в заблуждение животноводов.

— Обмер есть обмер, он никогда не будет точным... Зачем тогда это делать? А весы проверены госповерителем, понимаешь?

— Понимаю.

— Тогда откуда может быть приписка, если сено прошло через весы? Куда еще точнее-то проверенных весов?.. Другое дело — правильный, грамотный расход зимой. — Артюхов отвел глаза в сторону и несколько замялся, смягчая то, что собрался высказать. — Признаться откровенно, Борис Романович, я надеялся, что твой опыт поможет нам в расходовании сена, а его опять не хватило, как всегда.

Волохов, кровно переживавший неудачу прошедшей зимовки, не ожидал этого незаслуженного упрека.

— Павел Ильич, в царской армии — это рассказывал мой дед — был такой случай. Приходит генерал в казарму и спрашивает: «Как вас кормят, солдатики?» — «Хорошо, ваше превосходительство, — отвечают они. — Даже остается!» — «А куда объедки деваете, солдатики?» — снова спрашивает генерал. «Поедаем, ваше превосходительство, даже не хватает!» Вот так и у нас в совхозе: для районного руководства — остается, разумеется, на бумаге, а фактически — не хватает. Только мы не имеем смелости заявить об этом прямо, как солдаты.

Артюхов нахмурился, заныхтел и начал ерзать в кресле, переключая бумагу, лицо побледнело. Волохов понял; что сказал лишнее: Артюхов не любит, а возможно, и не простит ему такой критики. Это была их первая размолвка. Еще Волохов понял, что откровенного разговора, как было это до поступления на работу, с Артюховым больше не будет. В последнее время он старался всеми средствами подчеркнуть субординацию — директор всегда выше главного зоотехника.

— Знаешь, Борис Романович, я бы не стал подвергать сомнению работу большого коллектива полеводов, — сказал Артюхов с подчеркнутой значительностью. — Твой пример, скорее — анекдот. Не к лицу его равнять с хозяйством. Ты лучше подумай над тем, как организовать контроль по расходованию сена, чтобы его хватило на май!

Больше не стал Волохов доказывать Артюхову, что он не прав. Вышел из кабинета с затаенной обидой, поняв наконец истинную причину ухода всех главных зоотехников из совхоза.

Опять началась выдача кормов из сеновала рабочим совхоза под двойным контролем — ответственных руководителей отделений и народного контроля, четко, только через весы и только по выписанным лимитам получали сено животноводы для общественного скота. Однако в начале марта сено пришлось снова исключить из рациона. Его оставалось в сеновалах только для телят и ягнят. Вторая зимовка как две капли воды походила на первую. Разница была лишь в том, что в первый год работы Волохову прощали невыполнение планов, а во второй стали по-настоящему спрашивать в районе: почему, имея в достатке кормов, он не дает животноводческую продукцию? Почему она дорогая? Почему идет массовый падеж телят и ягнят весной?

Весной вместо ушедшего на пенсию Савельева на пост секретаря парткома был избран Гришаковский. Если старый секретарь предпочитал экономить силы, работать, не вмешиваясь в хозяйственные дела совхоза, то молодой, имеющий огромный запас неизрасходованной энергии, не имел пока опыта, больше возился с бумагами, потому тоже оказался в стороне от хозяйственных вопросов. Однако он сделал свое дело — решительно обновил состав парткома и народного контроля в совхозе. За активность на партийных собраниях, многократные критические, бес-

компромиссные выступления Волохов был введен в состав парткома и утвержден председателем общесовхозной группы народного контроля.

И в это лето сенозаготовки шли в совхозе лучше всех в районе. Артюхов, Рохин и теперь уже Гришаковский снова были отмечены премиями в размере оклада.

Волохов пошел к Артюхову и потребовал, на этот раз как народный контролер, провести в сентябре инвентаризацию заготовленного сена. Взаимоотношения между ними не стали лучше, но, вопреки ожиданию, Артюхов быстро согласился и приказом создал комиссию, в которую вошли, кроме Волохова, главный бухгалтер Тулина Таисья Сергеевна, заместитель главного агронома — начальник кормопроизводства Смакотин Юрий Васильевич, управляющие, агрономы и фуражиры отделений.

Волохов направился в магазин, купил белый капроновый шнур, разметил его, и комиссия начала свою работу. Через три дня ни Волохов, ни маленький подвижный Смакотин не могли поднять правой руки — через каждую кладь не менее трех раз приходилось метать шнур, на конце которого был привязан старый двухрядный подшипник. Работа была завершена. Четвертый день посвятили обсчетам полученных данных.

— Пока считали — веселились, а подбили — прослезились! Вот она, где собака зарыта! — воскликнул Волохов и, поставив на бумаге жирный восклицательный знак, бросил ручку на стол. Его расширенные темно-карие глаза возбужденно блестели, отчего казались черными, выражали одновременно и радость, что наконец найдена причина недостачи сена, и боль, что его так бессовестно обманывает агрономическая служба. В сравнении с весом, что уже был передан в статистические органы, сена было меньше на десять тысяч сто центнеров. Цифра поразила Волохова.

— Вот она, где собака зарыта! — повторил он, думая о том, что предпринять, чтобы уменьшить те цифры, которые сообщены в райисполком. На их защиту — по жизненному опыту знал — первым станет сам райисполком. Но еще не поздно, до первого октября оставалась целая неделя, окончательные данные в краевые органы еще не переданы. Все будет зависеть, как развернется он сам. Волохов понимал слабость своего положения в отличие от заслуженного агронома, которого хвалили дома и боготворили в районе. Об этом красноречивей некуда свидетельствовали и балансовые комиссии в управлении, на которых заслушивали их. Причем Волохова всегда — первого. Специалисты управления вели атаку на него то поочередными прямыми, то перекрестными запутывающими вопросами, словно соревнуясь между собой, кто мудреней, замысловатей спросит, кто загонит в безвыходный тупик главного зоотехника. Все до конца хотели выяснить, почему все-таки мала продуктивность при достаточно хорошей кормовой базе. Волохов сердился, отвечал излишне резко, порою путался в объяснениях. Выстаивать «на ковре» приходилось всегда не менее часа. Рохину на отчет и пояснения хватало пяти-десяти минут. Все планы выполнены, корма заготовлены и подвезены к фермам, если не считать соломы, все механизаторы, кто заслужил, получили премии за качество. А что не хватает кормов на полную зимовку — не его, Рохина, забота, животноводам следует расходовать аккуратней. Волохов «с ковра» уходил мокрый, Рохин — самодовольный, улыбающийся и, возвращаясь домой, всегда считал нужным пошутить и поговорить на свободную тему. Волохов молчал и в душе ненавидел этот развязный, надоедливый смех главного агронома, который походил на гусиный гогот — га-га-га!

Антипатия к Рохину появилась не сразу. Она особенно овладела им после второго крупного разговора с Артюховым.

Как-то в начале второй зимовки, когда были составлены зимние кормовые рационы и на зиму засыпаны плохие, наполовину смешанные

с землей и сорняками зерноотходы, Волохов отправился за помощью к директору.

— Павел Ильич, зачем мы себе замазываем глаза? — начал возмущенно Волохов. — В производственный план заложили тридцать пять тысяч центнеров чистого фуражного зерна с кормовой ценностью единица в килограмме!.. Я понимаю, что в связи со сложившейся обстановкой мы решили из фуражного зерна продать государству сверх плана десять тысяч центнеров и оставить скоту на зиму двадцать пять тысяч. Но их нет, Павел Ильич! Рохин еще исключил шесть тысяч, которые были скормлены в августе и сентябре, когда завтоком, главный агроном, директор старались спихнуть зерноотходы... мол, покормим коров, пока идет уборочная, да и с планом молока туго...

— Правильно говорили, — подтвердил Артюхов, внимательно слушая и стараясь понять, к чему клонит Волохов.

— Выходит, на зиму оставил Рохин только девятнадцать тысяч?

— Да, девятнадцать. Придется бережно, по-хозяйски расходовать, Борис Романович.

— Я хочу другое сказать. В эти шесть тысяч вошли: половина — с обкосов полей мокрой зеленой кутьей, а вторая — зерноотходами, в которых было не более пятидесяти процентов чистого зерна...

— Что ж ты хотел — государству сдавать зерноотходы, а скоту — чистое зерно?

— Нет, Павел Ильич. Хочу сказать, что девятнадцать тысяч центнеров, оставленных в зиму, — тоже наполовину земля и сорные примеси.

— Опять отвечаю тем же.

— Я хочу сказать: в плане — сухое, чистое зерно, полновесные кормовые единицы — килограмм за килограмм, а высчитали из него мокрой зеленой кутьей. Умышленный обман животноводов службой растениеводства! Белка-то ни корова, ни овцематка планового количества не получили, значит, не будет и планового количества привесов, молока, шерсти, но зато будет высокая себестоимость. Ведь Рохин записал не воды и земли три тысячи центнеров, а зерном фуражным!

— Ну и что? Все так делают, — теряя интерес, сказал Артюхов.

— Я думаю, что не все. Этим очковтирательством с вашей поддержки или вашим незнанием пользуется только один Рохин, чтобы искусственно завысить бункерный вес и урожайность зерновых с гектара — потому она всегда выше всех в районе.

— Это ты брось! — решительно принял Артюхов сторону Рохина. — Сергей Иванович агроном — таких поискать! Найди еще у кого-нибудь один общий мехток на весь совхоз, где зерно одновременно обрабатывается на семена, фураж и государству! Нет их в районе! Да, Рохин ни в чем не проморгает — ты прав. Потому и заслуженного получил!.. А потом, Борис Романович, тебе никто не запрещает отобрать образцы зерноотходов и свезти их в лабораторию, а бухгалтерии, согласно полученных данных, уценить их, чтобы правильно отразить затраты...

— Те шесть тысяч, — с жаром перебил Волохов директора, — которые скормлены с корня, может уценить только совесть Рохина!.. Девятнадцать тысяч я исследовал, бухгалтерия уже уценила их на пятьдесят процентов, так как лаборатория нашла в них половину зернового белка. Павел Ильич, поймите, уценить одно, а дать белок — другое! Из ничего невозможно сделать что-то! Ведь у меня в райсельхозуправлении не воду требуют, а молоко с заданным процентом жира, набором белков, витаминов в его составе! Тогда почему Рохин, видя, что зерноотходы содержат только половину зерна, не засыпал их наполовину больше, то есть тридцать восемь тысяч?

Артюхов дипломатично свернул в сторону от прямого ответа:

— Не пойму, Борис Романович, что ты от меня хочешь? Не забивай мне голову, у меня своих забот полно! Вы оба главные специалисты — вот и решайте между собой! Не зря говорят: для того и щука в речке,

чтоб карась не дремал. Дерись, доказывай! Все твои предшественники не могли. Рохин умен, считать может, голыми руками не возьмешь! У тебя опыта побольше — вот и давай, уличай, только делать это нужно своевременно. Ставь меня в известность — буду помогать.

Ушел тогда Волохов сильно обиженным на Артюхова, понял, что обманывал его директор с самого начала. Говорил бы, что главный зоотехник нужен не со скотом работать, а бороться с главным агрономом, на которого его директорской власти мало и который до того заслуженный, что стал «не по зубам». Или ему интересно сравнить главных специалистов и наблюдать со стороны чья возьмет? Странная позиция руководителя.

4.

У Артюхова был день личных вопросов. В приемной ожидали своей очереди рабочие, пенсионеры. Волохову ждать было некогда: на инвентаризацию кормов, вернее, на пересмотр цифр по селу, оставалось всего семь дней, и он шагнул в кабинет, как только вышел очередной посетитель.

Артюхов сидел в кресле и разговаривал по телефону. На нем была белая рубашка, галстук и костюм черного цвета; чисто выбритое лицо дышало важностью и высокомерием. Опустив на телефонный аппарат трубку, Артюхов повернулся, увидел Волохова, выражение неприступности смягчилось еле заметной улыбкой:

— У меня приемный день, Борис Романович. Если ненадолго, то давай выкладывай, что у тебя.

— Павел Ильич, я пришел сообщить результаты инвентаризации сена.

— Так, так, — заинтересованно, скороговоркой сказал Артюхов. — И что получилось?

— Плохо получилось, — озабоченно ответил Волохов. — В райисполком передано согласно оперативных сводок тридцать восемь тысяч восемьсот, а мы намеряли двадцать восемь тысяч семьсот. Недостача — десять тысяч сто центнеров.

— Этого не может быть! — нахмутив рыжеватые брови, твердо сказал Артюхов. — Вы допустили какую-то ошибку.

— Ошибки нет, — возразил Волохов убежденно. — В своей практике я постоянно принимал участие в работе комиссии по инвентаризации кормов — особенно сена и соломы. Делать это умею и ручаюсь сейчас за верность полученных объемов скирд. Ошибки нет. Смотрите, что выходит: если вес сена, полученный через весы, разделить на эти объемы, то вес одного кубометра составит во втором отделении восемьдесят пять, в первом — девяносто шесть и в третьем — сто семь килограммов. Ни в одном справочнике, Павел Ильич, вы не найдете таких удельных весов... Самые большие у бобовых — семьдесят пять, а у костра, которого у нас половина, — шестьдесят три килограмма.

— Не может быть, — повторил Артюхов, глядя в одну точку на столе и думая о своем, однако прежней твердости в его голосе уже не было.

— Это так! Каждый год так! — напористо и сердито продолжал Волохов. — Что хочет, то и пишет агрономическая служба... Вы понимаете, куда это ведет! Приписать десять тысяч сена — значит недополучить почти десять тысяч центнеров молока. Это триста тысяч рублей по государственным ценам! Если б мы получили это молоко, у нас было бы две тысячи семьсот килограммов на фуражную корову. Вот что делает Рохин!

— Не верю! — решительно сказал Артюхов, отрываясь наконец от своих мыслей. — Завтра создадим другую комиссию. Все! Иди, Борис Романович, в приемной ждут люди.

— Артюхов пригладил рукой и без того прилизанные назад русые волосы, и его лицо снова покрылось маской неприступности.

«Уличай, ставь меня в известность — буду помогать», — выходя из кабинета, вспомнил Волохов слова директора. — Помог, нечего сказать — снова перемерять... Увеличатся скирды, что ли? Похоже, начинается сказка про белого бычка...»

5.

Погода испортилась. С утра моросил, словно через сито, мелкий дождь. Тяжелые осенние облака, гонимые пронизывающим холодным ветром, плыли низко над землей.

Рохин, облаченный в резиновые сапоги, рыжую лисью шапку, теплый серый свитер, который надежно укрывал грудь и шею, костюм и просторную темно-синюю болонью куртку, скорее походил на охотника, чем на агронома. Он носился по конторе из кабинета в кабинет, сверкая белками широко раскрытых выпуклых глаз, и собирал в свой восьмиместный газик новую комиссию, которую создал Артюхов устным распоряжением. Попросту состав первой был пополнен Рохиним и экономистом Екатериной Марковной Муштаковой. Предупрежденная с вечера, Муштакова была одета для работы на холоде — теплую пуховую шаль, поношенное серое зимнее пальто с песцовым воротником и красные резиновые сапожки.

— Что, мне делать больше нечего, как только заниматься вашим сеном?! — возмущалась главный бухгалтер Тулина. — У меня своя работа стоит! Вы за меня квартальный делать не будете.

— Директор сказал — в ущерб любой работе. Все бросить, но провести повторный обмер, уточнить, — настаивал Рохин.

— Директор тем более за меня делать ничего не станет! Я обмеряла, уточнила — больше не поеду! — сказала Тулина и углубилась в свои бумаги.

Рохин еще несколько секунд потоптался в бухгалтерии и вышел. В коридоре навстречу ему бежал невысокий, серый от холода Смакотин.

— Юрий Васильевич, в машину! — приказал Рохин своему помощнику непререкаемым тоном. — Сейчас отъезжаем.

— Никуда я не поеду! Я вам сказал! — взвниченно ошетинился Смакотин.

— Я говорю — в машину!

— А я говорю, никуда не поеду! — снова повторил Смакотин, повышая голос. — Три дня бегал вокруг скирд как дурак! Нашли игрушку!.. Я руки поднять не могу! Вроде это второй раз киноленту прокрутить!.. Я вам говорил: примите участие, Сергей Иванович! Так нет, сразу вам не захотелось!

Смакотин юркнул в бухгалтерию.

Рохин постоял, соображая, что предпринять, и пошел за Волоховым, который молча набросил осеннее пальто, шляпу и запер кабинет на ключ.

Машиной Рохин управлял сам. С трудом протиснув живот между рулем и спинкой сиденья, включил мотор.

— Ну что, я думаю, начнем с ближнего второго отделения, — предложил он с тем намерением, что на этом отделении, как заключила первая комиссия, точнее проведено взвешивание сена.

— Все равно, — сказал упорно молчавший Волохов. У него в ногах лежал смотанный капроновый шнур.

В избушке весовой у сеновала их ожидали агроном отделения Яцеванов и фуражир Новосельцева.

Яцеванов был высоким, сутулым брюнетом со сросшимися на переносье бровями, с диковатым, отрешенным взглядом темно-серых глаз и длинными крупными руками. Он был в теплой куртке и кирзовых сапогах.

Новосельцева, на подотчете которой находились корма, щуплая молодая женщина с посиневшим от холода носом, ежилась в зимнем пальто и потирала тонкие костлявые кисти рук.

— И охота вам в такую-то погоду?! — сказала она с упреком грубоватым мужским голосом.

— Охота — хуже неволи! Га-га-га! — загоготал, как хозяин положения, Рохин. — Дождь перестал, а ветер прибавил, глядишь — и солнце покажется. Работать будем — не замерзнем!

Оптимизма Рохина никто не поддержал. Все молча направились в сеновал.

— Филипп Кузьмич, возьми шнур у Бориса Романовича, — распорядился Рохин.

Яцеванов суетливо и послушно принялся разматывать капроновую нить. Муштакова посмотрела на него открытыми серыми глазами, шмыгнула вздернутым носом и, ежась, вынула из карманов синие варежки, так как собиралась быть только свидетелем. Рядом с нею стояли Волохов и Новосельцева.

Обмерять стога Рохину еще не приходилось. Потому он не спешил, обдумывал, с чего начать, чем закончить, по-хозяйски осматривая первую кладь и отдавая распоряжения Яцеванову, который был на три года старше и с которым ему пришлось проработать вместе пятнадцать лет. Яцеванов был у Рохина всегда в неоплатном долгу — иногда грешил выпивкой, а главный делал вид, что не замечает, умел читать мысли своего шефа по неторопливым движениям рук, выражению лица, прищурю глаз. Тем более, что Рохин позвонил утром в отделение и сделал определенный намек... Яцеванов все понял и без намеков.

Начали с промера ширины.

— Ну-ка погоди, Филипп Кузьмич, я проверю, правильно ли ты стал, — сказал Рохин и, подойдя к Яцеванову, показал, где стоять и как держать шнур. Сам пошел к противоположной стороне и, прищурив глаза, посмотрел вдоль кладь. — Вот так будет нормально.

Рохин явно прибавлял с обеих сторон по четверти метра. Шнур провис и болтался под напором ветра.

— Где же нормально? — с горячностью закричал Волохов. — Шнур-то натяните! Стали тоже неправильно!

Но Рохин будто не слышал.

— Считаем, Филипп Кузьмич, раз, два, три, четыре, пять, шесть, так... с половиной... Запишем — шесть с половиной!

Волохов заглянул в свою тетрадь и, взвинтившись, сорвался с места:

— Сергей Иванович! Ты что делаешь?! Здесь с натяжкой шесть метров мы поставили!

— Не шесть, а шесть с половиной, — возразил Рохин, повышая голос.

— Я говорю, здесь шесть, натягивайте шнур как следует! А замерять нужно от этой точки до этой! — бегая, чертил линии каблуком Волохов.

— Что вы насчитали, для меня ничего не значит, Борис Романович. У тебя так, а у меня будет как я сказал. Давай, Филипп Кузьмич, бросай перекид с этого конца кладь, — распорядился Рохин, не обращая внимания на отметины на земле, и спокойно направился на вторую сторону кладь.

Яцеванов, услужливо сутулясь сильнее обычного, стал быстро собирать кольцами шнур в правую руку. Метнув привязанный на конце подшипник через кладь, крикнул Рохину:

— Натягивайте, Сергей Иванович!

— Готово! — ответил Рохин, когда подтянул груз до земли. — Считай, что получилось!

Волохов, рассерженный наглым самоуправством Рохина, застыл в жестком оцепенении рядом с Муштаковой и Новосельцевой, которые

не принимали участия в споре. Однако он не упустил из виду спускаемый с кледи шнур и про себя считал метры.

— Тринадцать метров двадцать сантиметров, Сергей Иванович!

Волохов поразился совершенной на его глазах лжи — агроном отделения, считавший молча, прибавил один метр.

— Рохин, я требую повторить перекид! — сорвался с места Волохов.

— Что повторять! — вдруг взъярился молчавший до сих пор Яцеванов. — Я не робот и выполнять ваши капризы не буду.

— Повторим без вас! — Волохов выдернул собранный шнур из рук Яцеванова. — Екатерина Марковна, станьте на вторую сторону.

Муштакова натянула переброшенный шнур до земли. Волохов хриплым от волнения голосом громко и резко считал метры:

— Двенадцать метров и двадцать сантиметров! На глазах воздух вокруг скирды меряют. На глазах врут! Эх вы — коммунисты!

Волохов бросил собранный в кольца шнур на пожелтевшую траву у ног Яцеванова: — Я все понял! Очковтиратели!

Волохов застегнул пальто и, придерживая шляпу рукою, пошел против ветра из сеновала.

— Филипп Кузьмич, как это у тебя получилось? — спросил Рохин.

— Не пойму сам, наверно, обсчитался, — пряча глаза в землю, ответил Яцеванов.

— Екатерина Марковна, — сердито сказал Рохин, — вы давайте участвуйте, нечего стоять наблюдателем. Вот вам моя тетрадь — продолжим нашу работу...

Тем временем, шагая в контору, Волохов лихорадочно соображал, что предпринять, как остановить неслыханное очковтирательство! Это преступление!.. Искать защиты у директора? Так он на стороне Рохина, потому и организовал повторную комиссию.

Сама собою пришла мысль позвонить начальнику отдела животноводства главному зоотехнику райсельхозуправления Веселкову Вячеславу Владимировичу, который внимательно выслушал, потом спокойно заключил:

— Зря вы затеяли это дело с обмером... Сено прошло через весы. В районе никто никогда не занимался этой ненужной работой.

— Значит, за помощью в район обращаться не стоит?

На конце провода послышался вздох и неуверенный, медленный ответ Веселкова:

— Не знаю... Думаю, что только зря время потеряешь... Тебя просто никто не поддержит... потому что сено прошло через весы...

— Я понял. До свиданья, — сказал Волохов и, не дослушав, бросил трубку. Но когда бросил, пожалел, что не сказал Веселкову самого главного: потому район в надоях на фуражную корову выше двух тысяч двухсот пятидесяти килограммов не поднимается. Мало вас бьют, Вячеслав Владимирович!

6.

Артюхов встревожился не на шутку. Уже к вечеру он слышал на ферме от животноводов, потом в автопарке, машинно-тракторной мастерской, строительной бригаде, что в сеновале второго отделения между главным зоотехником и главным агрономом произошла крупная ссора. В одном месте ссору назвали стычкой, а в другом — дуэлью, в третьем — войной. Доярки четвертой фермы высказались еще конкретней и прямей:

— Волохов — молодец! Вытянет их на чистую воду — очковтирателей. Посмотрите!

— Съедят и его.

— Не съедят! Надо помочь и нам — написать кое-куда!.. Пора трях-

путь всех заслуженных! А то март еще на подходе, а нам уже сено не дают! Когда это кончится?

Артюхов, к которому был обращен вопрос, пообещал разобраться. И чтобы быть дипломатичным в этом щекотливом деле, решил вначале повстречаться с Новосельцевой. От нее он получил мельчайшие подробности столкновения двух враждующих сил.

Заслуженный агроном вышел победителем и довел обмер до конца.

Чтобы не разжигать страсти и не раздувать возникший огонь до пожара, Артюхов решил Волохова не трогать. Он позвал к себе в кабинет Рохина, Муштакову и, дождавшись, когда они рассядутся спросил:

— Итак, что насчитала вторая комиссия?

— Какая это комиссия?! — начал с возмущением Рохин. — Тулина наотрез отказалась, Волохов сразу ушел из сеновала... Вот Екатерина Марковна, я и Яцеванов — вся комиссия. Управляющего и того не было.

— Каков ваш результат? — снова спросил Артюхов, пропуская мимо ушей недовольство Рохина.

— У Волохова по второму отделению получилось восемьдесят пять килограммов в одном кубометре, а у нас — восемьдесят. Я считаю, это нормально. Надо учесть, сено в основном состоит из многолетних трав — эспарцета, костра.

— Не густо, — сказал Артюхов и, барабаня короткими белыми пальцами по столу, задумался, сощурив водянисто-серые глаза в сетке морщин и припухших красноватых век. Оторвавшись от мыслей, повысив голос, добавил: — Не густо! Я хочу сказать — разница-то небольшая!.. Ваше мнение, Екатерина Марковна, пожалуйста.

Муштакова — женщина в годах, неторопливая, обстоятельная. Ее открытые серые глаза, вздернутый нос выражали честность и неподкупность. Облизнула языком губы, потупила взгляд и, вздохнув, сказала:

— Буду откровенна: сено в сеновале сложено плохо, скирды во многих местах просели, с горбами, протекли дождями, много сгнившего, испорченного... Еще бросается в глаза, что оно крупностебельное, скошено с большим опозданием. У такого сена всегда меньше удельная масса. Считаю, что обмерам первой комиссии нужно верить. Тем более, что Волохов все удельные веса взял после трехмесячной осадки кладей, когда у нас они пролежали два месяца, а некоторые — один... Потому считаю, Волохов прав, что взял удельные веса эспарцета семьдесят пять, а костра шестьдесят три килограмма.

Муштакова подняла глаза на директора. В них Артюхов прочитал решимость и поспешил высказать свое определение:

— Хорошо, Екатерина Марковна, спасибо. Я больше не буду вас задерживать.

Когда главный экономист ушла, Артюхов вышел из-за стола, проверил, закрыта ли первая дверь в его кабинет, затем надежно прихлопнул вторую.

— Так-то, Сергей Иванович, ты получил хорошую пощечину от главного зоотехника, — сказал Артюхов, усаживаясь в кресло.

— Ничего подобного, — возразил самоуверенно Рохин. — Это мы еще посмотрим. Завтра обмеряем на первом, послезавтра — на третьем...

Артюхов сердито перебил:

— Я запрещаю тебе это делать! Как говорят, прижми хвост и постарайся сделать все, чтобы Волохов замолчал... Для тебя — вторая комиссия распалась. Не дай бог, если это дойдет до района, хорошо мы с тобой будем выглядеть. За премиальные, скажут, раздули цифры директор с главным агрономом!.. Гришаковский будет в стороне, а мы с тобой — в бороне! Если не хочешь, чтобы тебя посадили на скамью подсудимых, то замолчи! Я тебе приказываю: сделай все, чтобы замять этот скандал, а то — я знаю тебя! Сходи на ферму, послушай, что доярки говорят о главном агрономе.

— Что доярки говорят? — насторожился Рохин.

— То говорят, что агроном заслуженный, а сена уже в марте нет.

— Павел Ильич, план по сену...

— Знаю — ты выполнил! Ладно, иди! Не терзай мою душу! Все!

Гонимый Артюховым, Рохин понес свою полную фигуру к выходу. Артюхов смотрел ему вслед и думал: «Властный, самолюбивый... Славу, как мед, любит. Чтобы по всем показателям впереди быть. Это к хорошему не приведет... В отделениях уже напрямую говорят, что убирается много скрытых площадей, чтобы увеличить урожайность зерновых... Если коснется — я не знал. Директор не может все знать... Ох, не то наступило время!»

Артюхов невольно вздохнул от мысли, что ему с каждым годом становится труднее работать. Парадокс — опыт увеличивается, а трудности растут. И тут же Артюхов поймал себя на мысли, что опыт помогает только при честной работе. Во все нужно вникать самому. Дай волю главным специалистам, так они таких дров наломают, что уши завянут. Теперь вот изволь гасить скандал между агрономом и зоотехником. Интуиция подсказывала, что из этой вражды ничего хорошего не будет. Хотелось Артюхову, очень хотелось, чтобы пощипал зоотехник заслуженного агронома, которого — не хотел признаться даже в глубине души — побаивался сам. Находясь в заместителях, оставаясь руководить совхозом в период отпусков, Рохин вел себя вызывающе и, вопреки наказам Артюхова, распоряжался материальными ценностями (зерно, дрова, уголь, отходы) так, словно постоянно стоит у совхозного руля. Пора бы сбить с него эту спесь. Артюхов знал, что если его уберут с поста, то поставят Рохина. Но как? Как сделать, как щипнуть его и самому не оказаться глупцом в глазах райкома?

7.

Волохову за пятьдесят лет жизни, из которых двадцать восемь было отдано зоотехнической работе, всякое пришлось испытать в работе, иногда избыток, а в основном недостаток кормов. Бывали и жесточайшие голодовки. Забыть эти годы он не мог. До сих пор видит перед собою истощенных животных, угасающий взгляд покорных глаз и бесконечную транспортировку трупов на скотомогильник. Засуха — общая беда, противостоять ей пока не научились. Но в постоянном недостатке кормов для животных Волохов винил прежде всего простую хозяйственную неразворотливость во время заготовки, слабую материальную заинтересованность растениеводов за конечный результат — мясо, молоко, шерсть — и сложившуюся систему земледелия. Назовешь ли правильным то, что постоянно у мест зимовки скота осенью имеется не более четверти нужной на корм соломы?

Не привык Волохов работать плохо. Тому подтверждение — правительственная медаль и многочисленные похвальные грамоты райкома партии, райисполкома, которыми награждался за доблестный труд. Все это было там, в колхозе, где работал до переезда. Не поругался бы с новым председателем колхоза — не сошлись характером, — работал бы и сейчас. Захотелось познать совхозную систему. Пошел третий год, как познает. Пока что Волохова только ругают на новом месте. Ругают за невыполнение государственных планов, низкую продуктивность и гибель молодняка в весенний период. Его, как нового человека, в совхозной системе поражало равнодушие всех к происходящему. Главный врач подписывал акты, директор утверждал. Совсем не интересовался развитием животноводства партийный комитет. Именно развитием, перспективой. Он пока беспокоился о наглядной агитации, создании на фермах идеологических звеньев, постов народного контроля. Поверхностный блеск, видимость работы. Ни жизненной глубины, ни творческого поиска. И все сходит.

Волохов не находил себе покоя. Мучила совесть и постоянный вопрос: почему не хватает кормов? В чем его ошибка как главного зоотехника?

Но вот причина наконец-то найдена, преступное зло схвачено за руку, имя ему — очковтирательство. У Волохова было три укоренившихся убеждения: отыскать зло — ничего не сделать; сообщить в хозяйственные или правоохранительные органы — проявить мужество; искоренить — долг и обязанность коммуниста. Следовательно, молчать он не может. Конечно, можно переехать в другое хозяйство, где кормовая база крепче. Но переехать — не переодеться. Можно уйти от плохого хозяйства (закон тебе — защитник), однако уйти от своих плохих способностей бороться и побеждать — невозможно.

Для себя Волохов ничего не требовал. Квартира, условия быта его устраивали. Брат и престарелая мать были рядом. Немного роптавшая вначале жена обвыкла, преподает в школе. Дочка, окончив медицинский институт, вышла замуж и осталась в городе. Сын после армии неожиданно изменил свои первоначальные замыслы и поступил в юридический. В семье у Бориса Романовича все было ясно и надежно. Не было только внутреннего покоя в нем самом.

Перед отъездом в райсельхозуправление Волохов осмотрел себя в зеркале: прибавилось седины, глубже въелись морщины, и только темно-карие глаза под дугами черных бровей, кажется, смотрели с прежней остротой и блеском. Сегодня ему предстояло сдать акт готовности совхоза к предстоящей зимовке, подписанный директором, специалистами, скрепленный печатью.

Готовым был один экземпляр. Два других предстояло заполнить после проверки.

Веселков любил аккуратность. Особенно цифровую. Склонившись над актом, он долго водил широким носом по цифрам, проверяя увязку таблиц. Веселкову можно было дать и пятьдесят пять, и шестьдесят лет. Он был совершенно лыс, с обозначенными, набухшими венами на висках.

— Чем закончился у вас спор, Борис Романович? — хрипло прокашливаясь, спросил Веселков.

Волохов почувствовал закипевший внутри приступ злости, который просил немедленной разрядки и выхода. Он не терпел буквоедства, сплетен и кабинетного сюсюканья.

— С кем? — словно не понимая, о чем идет речь, спросил Волохов.

— С Сергеем Ивановичем.

— Какой спор?

— По сену.

— Ах, по сену! — воскликнул Волохов. — Акт перед вами — смотрите.

— Я посмотрел, — вскинул тонкие рыжие брови Веселков. — Все цифры вяжутся с данными статистики.

— Плохо, что вы видите только одну увязку цифр, — с нажимом съязвил Волохов, — и не видите увязку их с действительностью. Благодаря вашему невмешательству, Вячеслав Владимирович, очковтирательство, которое вы назвали спором, закончилось победой многоуважаемого вами Сергея Ивановича. Потому что он — СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ! Артюхов велел бухгалтеру давать статистике по весовым данным. За моей спиной. Я тоже был вынужден поставить в акте эти цифры, потому что все увязывается. Поставь я сено, полученное по обмеру, вы первые не примете у меня акт. Это мне известно.

— Значит, обеспеченность по шестнадцать центнеров кормовых единиц на условную голову, — не то радуясь, не то сожалея, сказал Веселков.

— А если б сено показали по обмеру, — подхватил Волохов, — было бы по четырнадцать с половиной...

— Борис Романович, сходите в отдел механизации, пусть проверят и завизируют таблицы, — подписав, Веселков вернул акт Волохову. После переписки акта, Волохов направился на второй этаж к начальнику управления.

Петр Петрович Заметаев, трудовой путь которого начался с рядового учетчика в колхозе, нравился Волохову тем, что был шумлив, горяч, особенно когда выступал с трибуны, скор на наказания нерадивых, оплошавших руководителей и специалистов, но в то же время отходчив и незлобив по натуре. Ему всегда казалось, что Заметаев говорит только чистосердечную правду. Пообщавшись с ним, Волохов всегда уезжал из райцентра с дополнительным запасом энергии, что, в свою очередь, отражалось на работе.

Заметаев говорил по телефону. Увидев Волохова в проеме двери, Петр Петрович жестом руки пригласил его в кабинет и указал на стул. Так получилось, что переезд Волохова совпал с назначением Заметаева начальником райсельхозуправления. Он и оформлял его на работу, давая наставления, а потом постепенно проникся симпатией и уже не упускал из виду Волохова, с приходом которого в совхозе осуществился перевод молочного скота на поточно-цеховую систему, увеличилась продуктивность коров, в полтора раза сократились сроки стрижки овец, уменьшился падеж животных. Заметаев чувствовал опытную руку специалиста.

— С чем пожаловал, Борис Романович? — спросил он, кладя телефонную трубку.

У Петра Петровича открытые зеленоватые глаза, небольшой нос, тонкие губы, легкий подбородок и довольно широкий выпуклый лоб с зачесанным назад редким русым волосом. На нем белая рубашка, галстук, на лацкане темно-синего костюма значок депутата районного Совета.

— Пришел к вам, Петр Петрович, с необычной просьбой. Я изложил ее на бумаге, — сказал Волохов и положил на стол исписанный лист.

Заметаев быстро, сосредоточенно пробежал глазами по строчкам и нахмурился.

— Поверить в это трудно, Борис Романович! — энергично возразил Заметаев. — Это не сто и не тысяча... Это десять тысяч центнеров сена! Целый сеновал недостачи.

— Потому и пришел к вам с просьбой создать районную комиссию, чтобы проверить правильность оприходования сена в совхозе.

— Вы ответьте мне вот на какой вопрос, — переходя на «вы», сказал Заметаев. — Все ли сено во время заготовок прошло на сеновал через весы?

— Абсолютно все.

— Тогда почему недостача?

— Не знаю.

— Почему не знаете? Вы ж в совхозе главным зоотехником работаете!

— Работаю. Только когда начинаются сенозаготовки, я стригу овец, отправляю вагоны с шерстью на фабрику. Каждый вагон, Петр Петрович, стоит двести пятьдесят тысяч рублей. Малейшая оплошность в упаковке и таксировке обходится совхозу в десятки тысяч рублей. Могу ли я этим рисковать?.. Потом молоком занимаюсь — почти полторы тысячи коров! Планы-то все время трещат...

— Плохо, что не знаете! Плохо, что на сенозаготовки время не находите!

Волохов, что называется, сорвался и с горячностью сердито высказал все, что думал:

6 1270819



— У вас, конечно, одно заключение: плох главный зоотехник, если ему сена полеводы больше написали, чем есть в действительности! Петр Петрович, при чем милиция, если громом поросенка убило!? Я что — сено принял? Они — готовят его, они — отчитываются за количество! Чтобы хвалили, идут на приписки. А вы за эти приписки — премии руководителям совхоза!.. Лично у меня редкое воскресенье бывает выходным.

— Что говорит Артюхов? — спросил Заметаев.

— Ничего не говорит. Велел Тулиной показать по весовым данным.

— Почему вы поздно подняли этот вопрос?

— Я обращался за помощью к Веселкову, но не получил поддержки.

Немигающие зеленоватые глаза Заметаева вдруг начали что-то искать на стенах кабинета. Наконец, ткнув пальцем на кнопку селекторного аппарата, коротко бросил:

— Вячеслав Владимирович, зайди.

Веселков появился в кабинете тотчас, остановился у порога в оцепенении.

— К вам обращался товарищ Волохов с просьбой помочь правильно оприходовать сено в сентябре месяце?

— Да, звонил, Петр Петрович... Но я посчитал — зачем? Оно взвешено... И потом, в районе это не принято... никто не делает...

— Мне все ясно! — оборвал своего помощника Заметаев. — Что можно сделать сейчас, Вячеслав Владимирович?

Веселков бросил на Волохова косой, неприязненный взгляд, что не предупредил о своем визите к Заметаеву, что сейчас, застигнутый вопросом врасплох, вынужден отвечать без подготовки и путаться, как первоклассник.

— Считаю, Петр Петрович, ничего. Ведь мы... отчитались по кормам, — сказал Веселков в раздумье.

Заметаев помолчал и заключил:

— Хорошо, товарищ Волохов, мы подумаем, как ответить на ваше заявление.

Волохов поднялся со стула. У него было самое отвратительное, угнетенное состояние, какого никогда в жизни не приходилось испытывать. Как ни подходи, а получалось, что он написал жалобу на директора, агрономическую службу, ударил в спину из-за угла. Еще не было такого у Волохова, не в его характере жалобы.

Как только остались одни, Заметаев набросился на Веселкова.

— Ты почему сам принял решение?! Почему меня не поставил в известность? А если прав Волохов?! Выходит, мы дали в край липу? Кто мы после этого? Не ожидал я от тебя такого, Вячеслав Владимирович. Все!

Заметаев остался один и тут же позвонил в «Рассвет». Услышав вкрадчивый голос Артюхова, Заметаев про себя отметил, что раньше, когда они директорствовали в соседнем совхозе, голос Павла Ильича был совсем иным — то начальственно-неприступным, то снисходительно-прощающим. Среди своих коллег-директоров Артюхов считался самым гонористым, прижимистым до мелочей, хитрым и изворотливым во всех ситуациях. За все это Заметаев недолюбливал Артюхова и тем не менее находился с ним в деловых отношениях, а точнее — в постоянной зависимости от него. Артюхов частенько продавал ему силос, а порой выручал и сеном взамен на шифер, лес и другие строительные материалы. При этом торговался, как заядлый барышник. Еще тогда Заметаев удивлялся: как мог Артюхов продавать корма, когда сам держал животных на голодном пайке и едва сводил концы с концами, давая молока от коровы и получая шерсти с овцы меньше Заметаева?

Потом, став руководителем районного масштаба, Петр Петрович, вопреки здравому смыслу, иногда ущемлял Артюхова при распределении фондовых материалов и техники.

— Слушаю вас, Петр Петрович, — обращаясь на «вы», сказал Артюхов.

— Ко мне обратился с заявлением твой главный зоотехник, Павел Ильич. Он не согласен с весом сена и просит создать комиссию по переучету, то есть обмерить...

— Все-таки пошел к вам, — с сожалением, не скрывая в голосе угрозы, сказал Артюхов.

— Он волен обращаться и в район, и край, и Центральный Комитет. У нас, сам знаешь, двери везде для всех открыты.

— Знаю, конечно, знаю, — поспешно согласился Артюхов.

— Вот то-то и оно!.. — Заметаев помолчал. — Создадим комиссию и вдруг все подтвердится, а я тебе с Рохиным и секретарем парткома приказом премию за перевыполнение плана сена отвалил! Как после этого назвать вас и меня? Молчишь? Нечего сказать?

— Конечно, Петр Петрович, сено прошло через весы влажноватым... на активном вентилировании досушивалось, и земля есть. Еще есть сложность — несоответствие при взвешивании большегрузных тракторных тележек и их сцепов на малых весах наземного исполнения... Возможно, были ошибки. Сами знаете, вам нечего рассказывать, Петр Петрович, были в моей рубашке...

— Был. Но когда недостача десять тысяч... Знаешь, я не хотел бы в ней быть, особенно сейчас. Так когда прикажешь прислать комиссию?

— Петр Петрович, конечно, я понимаю тебя как начальника управления, — вдруг перешел на «ты» Артюхов. — Но прошу, если можно, как старого друга, придержи это заявление, пусть полежит. Возможно, все на этом кончится... Волохов не мальчик, думаю, поймет положение управления — ведь отчитались... Я со своей стороны тоже ему намек сделаю. Не нужно комиссии, Петр Петрович.

— Понятно, — Заметаев положил трубку.

8.

Артюхов не находил себе места. Случай, что называется, из ряда вон выходящий. И первый в его пятнадцатилетней директорской практике. Вначале он хотел вызвать Волохова и как следует пропесочить. Но, несколько успокоившись, поразмыслил и решил вести себя так, будто ему совсем ничего не известно о заявлении и просьбе Волохова в райсельхозуправлении.

А скоро ему подвернулся и повод, чтобы сделать надлежащее внушение своему главному зоотехнику.

В приемную Артюхова позвонили из редакции районной газеты с просьбой помочь отыскать главного зоотехника. Не зная, что ответить, секретарь Лида Мазанкина пошла к Артюхову, чтобы спросить, где найти Волохова.

— Зачем он им нужен?

— Не знаю.

Тогда Артюхов пошел в приемную сам и взял трубку:

— Здравствуйте. Зачем вам нужен главный зоотехник?

— Нам нужна информация по ходу зимовки скота в вашем совхозе, — ответил чистый девичий голос в трубке.

— Хорошо, он позвонит вам сам, — Артюхов, не скрывая отвращения, бросил трубку на аппарат. — Лида, разыщи Волохова, но прежде чем звонить в редакцию, пусть Борис Романович зайдет ко мне...

Он, скорее всего, на молочной — там сегодня начали жирность молока определять от каждой коровы...

Через полчаса Волохов был в кабинете Артюхова, который с дружелюбной, располагающей улыбкой пригласил его сесть и, словно за этим позвал, показывая свою заинтересованность в вопросах животноводства, спросил:

— Как жиры у наших буренок?

— Хорошие. Стадо идет в запуск. Вот проверим жирность, исследуем на стельность, а яловых отправим на мясокомбинат, — сказал Волохов, понимая, что этот вопрос — вступление к предстоящему разговору.

— Правильно, — похвалил Артюхов. — Борис Романович, ты мне скажи: будет или нет план по мясу?

— Возможно, нынче дотянем.

— Надо стараться, Борис Романович, сделать хоть последний, завершающий год пятилетки. Сам знаешь, план — закон. Вопрос стоит: или—или...

Артюхов замолчал, подтянулся на подлокотниках в кресле и посерьезнел, рассматривая в руках изящную шариковую ручку.

— Позвонили из редакции, Борис Романович, просят дать в газету информацию по зимовке скота, — сделав паузу, Артюхов продолжал уже наставительным тоном. — Подготовься и дай что надо. Только моя просьба и мое пожелание — не надо все выворачивать наружу, особенно выпячивать негативную сторону. Поверь моему горькому опыту — я немного постарше тебя, — никому в районе твоя правда не нужна. Мужик ты прямой, справедливый. Я считаю тебя деловым и честным в поступках. Но, как говорят, выносить сор из избы я тебе не советую. Слово не воробей, выпустишь — не поймает. Поверь, Борис Романович, руководству района нужны только цифры, там правды не ищи. На тебя смотрят так: выполнены планы — ты хороший, не выполнены — плохой...

— Павел Ильич, вы правы: у меня, зоотехника, нет плановых цифр — я плохой! — перебив Артюхова, поспешно сказал Волохов, чувствуя, что начинает закручиваться изнутри. — А плана нет, потому что кормов нет. Вернее, они есть на бумаге, но нет фактически. В обратном теперь меня вы не убедите. Нет десяти тысяч центнеров!

Обрадованный тем, что Волохов сам поднял вопрос о сене, Артюхов быстро подхватил:

— Об этом, Борис Романович, тем более молчать надо. Обмер, знаешь, дело субъективное — тебе кажется, нужно начинать отсюда, а Рохину — отсюда. У каждого из вас, Борис Романович, свой глазомер — потому и разница... Нет, нет! — поспешно перебил себя Артюхов. — Я не защищаю Рохина: он очень самолюбив, напорист, любит, если о нем говорят с восхищением, превозносят.

— Вот-вот! — подхватил Волохов, понимая, что пошла откровенная полемика, потому говорить все надо прямо и называть вещи своими именами. — Рохина хвалят, что много производит кормов, премии дают, а меня ругают, что в феврале—марте сена коровам не даю, что мала продуктивность в период массового растела. Несоответствие получается, парадокс, Павел Ильич, одного специалиста на божничку, другого — к стенке!

Артюхов, преследуя свою цель, поспешил поддержать Волохова:

— В этом, конечно, не один ты виноват. Это наша общая беда. Мало площадей под сенокосными угодьями, мало сею однолетних, слаба урожайность.

— Павел Ильич, я считаю, что это не общая наша беда, а ущербная, безответственная работа агрономической службы. Более того, буду откровенным, считаю, что это делается не без вашей поддержки...

— Однако ты словам своим отчет давай! — сказал Артюхов, на-

хмурясь, и бросил на стол свою красивую авторучку. — Директор не нянька, не может за всеми вами уследить один, извини!

Волохов понял, что деликатность и вежливость Артюхова кончились и отодвинуты в сторону, как ширма. Перед ним уже сидел неприступный, до крайности рассерженный, не привыкший к таким прямым, критическим выпадам руководитель. Еще Волохов понял: если он сейчас не подтвердит критику цифровым или фактическим примером, то он проиграл. Потому тотчас пошел снова в атаку:

— Вы меня тоже извините за прямоту. Вы как директор не можете не знать того, что Рохин в течение последних лет распахал в совхозе более трехсот гектар пастбищ. Это уже при моей работе, на моих глазах, а пашни в годовых отчетах — посмотрите! — не добавилось ни одного гектара. Эти земли засеваются якобы для сена однолетними злаками, а косятся на зерно, чтобы работать на плановый зерновой гектар. Потому и урожайность зерновых наивысшая в районе. Вы думаете, это я говорю? Нет, я только передаю то, что говорят механизаторы в отделениях. Так и говорят: «Все, кончились плановые площади, начнем убирать неплановые...». Ведь слава-то Рохина дутая! Семь бед, говорят, один ответ. Мне, Павел Ильич, терять нечего — напишу, что говорят механизаторы, и отошлю в край — пусть проведут учет, аэрофотосъемку полей. У вашего заслуженного, поди, тысяча неучтенной пашни!

Волохов неожиданно умолк, и Артюхов, пораженный проницательностью главного зоотехника, умением анализировать не хуже главного агронома, не нашелся сразу, чем заполнить образовавшуюся паузу. Сейчас он понял, что мира, на который он еще надеялся, между этими главными специалистами никогда не будет.

— Ну, знаешь ли, чтобы так говорить, — наконец сказал Артюхов, — нужно твердую почву иметь...

«На что он намекает? — подумал Волохов. — Угрожает? Чем?»

— Я хотел сказать: иметь веские аргументы, доказательства. Механизаторы, знаешь, наговорят, — добавил Артюхов напыщенно.

— Не знаю, Павел Ильич, что делали бы вы на моем месте, но быть в совхозе острым углом, о который все могут почесаться, я не согласен! Сейчас я понял всех зоотехников, работавших у вас рядом с Рохиным. Они просто ушли от борьбы. Поверьте, все время быть в хозяйстве козлом отпущения — трудная роль даже за большую зарплату. А мне стыдно возвращаться назад, хотя, отпуская, говорили: вернешься — двери для тебя у нас открыты... Крепко я обманулся, Павел Ильич, поверил вашим речам... Потому я ничего не пожалею, чтобы доказать свою правоту!

Артюхов вдруг снова повеселел и круто изменил ход беседы:

— Возможно, ты прав — я говорю про Рохина. Возможно, химичит что-то. Обязательно проверю! Тебе вот как новому, свежему человеку бросилось в глаза, а я недосмотрел — примелькалось!.. Одно тебе обещаю, Борис Романович: только бы перезимовать, а весной насыду на Рохина, возьму под контроль его работу, увидишь, даст он нам корма! Обещаю твердо. Ладно, давай иди. Мне тоже пора ехать, — сказал Артюхов, посмотрев на часы, и направился к встроенному в стенку полированному шифоньеру. — Считаю, что мы хорошо, откровенно побеседовали. Только на пользу!

Однако веселость Артюхова была показная, тактическая, мол, осилим этот недостаток, если он имеется. На самом деле он был глубоко встревожен и растерян. «Откопал на свою голову грамотного, опытного зоотехника — будет учить агронома, заодно и меня...»

Завтрашний день для Артюхова представлялся туманным и непонятным.

9.

Помня важнейший закон биохимии, нет растительного белка — не будет и животного, Волохов всегда жалел тех руководителей, которые пытались поднять животноводство только передовыми приемами, технологиями, селекцией и волевым нажимом без увеличения производства белка растений. Недокорм скота перекрыть чем-либо невозможно, как нельзя от коровы получить ягненка. При недокорме гибнут все усилия селекции. Но как это доказать Артюхову, Гришаковскому, если они абсолютно не знают биохимии?

Ноябрь на исходе. Закружили метели, окрепли морозы. Зима надолго запеленала землю в белое сибирское покрывало. У зимующего скота в помещениях были устранены последние недостатки, отлажено кормление. С полей тракторными обозами начался подвоз соломы. Сенювалы совхоза распахнули свои ворота для выдачи сена рабочим — Артюхов держал свое слово. Повторялось прошлогоднее. Полтора месяца ждал Волохов ответа от Заметаева. Наконец понял, что его не будет. Что делать? Остановиться на полпути или стучаться дальше, до победы? И возможна ли победа в его положении? По сути дела, он один.

«Как вел бы себя Рохин на моем месте? — спрашивал себя Волохов и без сомнения отвечал: — Съел бы агронома с потрохами! Ни перед чем не остановился!»

Выезд специалистов в райцентр, до которого было сорок восемь километров, Артюхов постоянно контролировал. Задавались вопросы: зачем, на какое время, каким транспортом? Закрепленный за Волоховым газик был надолго и безнадежно поломан. В трудные моменты он просил бортовую машину или использовал личный «Москвич», на ближние — ходил пешком.

Из приемной первого секретаря райкома партии Чистякова Волохов получил от секретарши четкий ответ:

— Евгений Силыч будет ждать вас послезавтра в половине девятого, утром.

В это тревожное для себя и жены утро он поднялся в пять часов, чтобы разогреть скованный морозом в холодном гараже «Москвич». Потом тщательно побрился, надел белоснежную рубашку, галстук, новый серый костюм. Супруга видела, как осунулся в последние месяцы замкнувшийся в себе муж, болезненно переживала за его работу, но не вмешивалась в дела, боясь навлечь на себя гнев: он был крут в такие минуты. Она молча проводила Волохова за порог и благословила про себя, пожелав удачи.

В райкоме было тихо, фойе блестело чистым паркетом. Настенные часы показывали начало девятого. Волохов разделся, прошел к зеркалу, привел в порядок волосы. Времени в запасе было много, оттого делал все без суетни. Также неспешно поднялся на второй этаж.

В приемной велось круглосуточное дежурство работников аппарата. Молодой чернявый инструктор, фамилию которого Волохов не знал, пригласил его сесть, а сам уткнулся в книгу.

Чистяков, поприветствовав обоих кивком головы, прошел в свой кабинет в верхней одежде. Волохов посмотрел на свои часы — до назначенного времени оставалось семь минут. Снова углубился в свои мысли, обдумывая предстоящий разговор. В половине девятого он уже хотел было напомнить инструктору, что записан на прием, что секретарь, возможно, забыл о назначенном времени, но раздался телефонный

звонок. Инструктор поднял трубку одного из четырех стоявших на столе аппаратов.

— Хорошо, — ответил он и кивнул Волохову. — Вас просят войти.

Чистяков был строг, официален, в безукоризненно белой рубашке, галстуке. На столе перед ним лежал раскрытый блокнот. Присаживаясь на предложенный стул, Волохов отметил, что секретарь, пожалуй, ему ровесник — на лбу залысины, виски словно припудрены.

— Слушаю вас, — сказал Чистяков и добавил, глянул в блокнот: — Борис Романович.

С места — к делу, сразу по существу, хотя можно бы вначале поговорить о том, как идет в совхозе зимовка скота. Это бы поддержало Волохова в собственных глазах, наконец подтвердило правильность его шага и необходимость предстоящего разговора. Но этого не произошло, и Волохов уже не мог выбраться из колен кляузника, доносчика, в которую был поставлен сухостью приема. Он в нескольких словах описал суть своей просьбы, полагая по началу беседы, что для секретаря сейчас важнее не то, что он скажет, а то, как долго будет излагать свои мысли. И он не ошибся. Чистяков без лишних вопросов нажал кнопку селектора.

— Петр Петрович, доброе утро, — сказал он тихо и внятно.

— Здравствуйте, Евгений Силыч, — с готовностью и громко прозвучал в динамике голос Заметаева. — Слушаю вас.

— У меня находится главный зоотехник совхоза «Рассвет» товарищ Волохов. Он обращался к вам с просьбой помочь обмерять сено?

— Да, — с замешательством сказал Заметаев и быстро добавил: — Да-да, обращался! Он оставил у меня докладную... Но в текучке забыл, Евгений Силыч.

— Нехорошо, Петр Петрович. Нам забывать не положено. Я прошу вас под личную ответственность проверить и поддержать главного зоотехника. Ответ мне дадите в письменной форме.

— Понятно, Евгений Силыч.

На этом прием закончился. Но Волохов вышел несколько взбудораженный. Ему показалось, что первый секретарь слово «поддержать» произнес искренне, значит, не считает Волохова кляузником и доносчиком. И так, пружина закручена до предела. Угадать заранее, как раскрутится она, было трудно. Если мгновенно — будут травмы, если спокойно — никто не пострадает.

В кабинете Заметаева находились все ведущие специалисты и их помощники. Шла обычная утренняя планерка, на которой обсуждалась проделанная и намечалась предстоящая работа аппарата райсельхозуправления. К девяти часам все расходились по кабинетам.

Но в это утро, после вмешательства первого секретаря райкома партии, планерка нарушилась и пошла в совершенно другом непредвиденном направлении. Выключив селектор, Заметаев взвинтил свой тенор до необычной высоты, что делал только в крайних случаях, когда считал необходимым разрядить внутреннее напряжение:

— Вы слышали? Почему я должен нести ответственность за действия каждого из вас? У нас советское учреждение или бюрократический аппарат?.. Я вас спрашиваю, товарищ Веселков!

Веселков склонил голову к лежащей на коленях тетради. Он молчал, зная характер своего начальника, в таких случаях гораздо безопасней ничего не отвечать.

— Центральный Комитет настраивает нас на энергию, ускорение, а мы не только не ускоряем — тормозим! Нас надо разогнать!.. Разогнать за то, что мы работаем старыми бюрократическими методами! И мы это сделаем. Вы уже слышали, что за оставшийся месяц до конца года будет создано районное агропромышленное объединение — РАПО,

Работать в нем по-старому никто не позволит... Это я вам говорю, товарищ Веселков! К нему, видите ли, обратились с просьбой, а он решил не реагировать — так спокойнее... Где эта бумага главного зоотехника из «Рассвета»?

— У меня, — сказал главный агроном Слепцов.

— Вы проверили ее?

— Петр Петрович, но вы мне ничего не говорили про проверку.

— Вам всем надо говорить, разжевывать и класть в рот!.. Это в вашей отрасли, товарищ Слепцов, творятся такие безобразия! Вот создадим комиссию, все подтвердится — нет десяти тысяч центнеров сена. Что тогда?! Веселкова и Слепцова лишу всех премнальных! Насколько позволит данная мне власть — накажу обоих материально и административно. На сто процентов!.. Сейчас я выеду в совхоз «Рассвет», разберусь сам, потом поедет комиссия. Готовьтесь. Все! Я никого не держу.

Шофер правил машиной молча. Глядя на белые снежные барашки, бегущие через дорогу, Заметаев думал, как вести себя, прибыв в совхоз, что сказать и чем закончить. Да, ничего не скажешь про этого Волохова — напорист и последователен в своих действиях. Обвинить его, конечно, нельзя. Был бы на его месте зеленый первогодок — можно бы и не поверить заявлению. Но это большой практик, знает, что делает, и, разумеется, уверен, что не останется в дураках... И эта уверенность пугала Заметаева больше всего, заставляла думать и искать выход из создавшегося положения. Рохин тоже хорош — думай, решай за него! Ведь член райкома, заслуженный агроном — поверить трудно и не верить нельзя. Не бывает дыма без огня. Если все это подтвердится, его в первую очередь нужно гнать из партии... Прославится район этим на весь край.

На рабочих местах в конторе Заметаев нашел только бухгалтеров, диспетчеров да в приемной Лиду Мазанкину.

— Откройте мне зал заседания, — приказал он рассерженно Мазанкиной, — и вместе с диспетчером немедленно соберите — запишите на бумаге — всех главных специалистов, управляющих, бухгалтеров, агрономов и фуражиров отделений. Найдите мне Артюхова. Приступайте немедленно!

«Быстро же он примчался. За мной следом ехал, что ли? — подумал Волохов, здороваясь кивком головы с Заметаевым, который сидел за столом на помосте перед залом в расстегнутом пальто. Перед ним лежала ондатровая шапка. Волохов опустил на сиденье первого ряда, где всегда находились главные специалисты на расширенных планерках.

Заметаев хмуро наблюдал, как медленно, по одному тянутся приглашенные. Артюхов появился в числе последних. Он был растерян и в первые секунды не знал, куда ему направиться — или в первый ряд, или за стол. Наконец шагнул к Заметаеву, поздоровался через стол за руку и спросил:

— Что случилось, Петр Петрович?

— Сейчас объясню, садитесь.

Озадаченный неприветливостью начальника управления, Артюхов опустил в первый ряд.

— Кого нет, товарищ Рохин? — поднялся Заметаев.

— Управляющий второго отделения на курорте — за него Яцеванов. На третье отделение не смогли дозвониться — что-то со связью случилось. Остальные все здесь, — сказал Рохин, осматривая зал.

— Садитесь, — сказал Заметаев и сразу, взяв самую высокую ноту своего тенора, которым он всегда делал разносы, обрушился: — Это что за порядки в совхозе «Рассвет»? Директора в кабинете нету! Главных специалистов в кабинетах не найдешь! Где они? Это что за порядки у вас, Павел Ильич?

— Петр Петрович, позвонили бы — мы сидели на своих местах. По вашему, если мы не в кабинетах сидим, то и не работаем? — ответил директор сердито, с возмущением. Но больше всего Артюхов оскорбился тоном начальника управления: смотри-ка, сам только из директоров, а кричит, будто всю жизнь районом управляет.

— Совершенно верно: раз нет — не работаете!

Заметаев помолчал и, взяв на тон ниже, продолжал более спокойно:

— В управление сельского хозяйства обратился с заявлением ваш главный зоотехник товарищ Волохов. Он пишет, что в сеновалах совхоза приписано десять тысяч центнеров сена. Так ли это? Прошу управляющего первым отделением объяснить: сколько у вас не хватает сена и почему?

Маркушин поднялся во весь свой огромный рост с расстегнутыми пуговицами пальто, шапкой в руках:

— У меня все сено в наличии...

Маркушин растерялся и говорил явно не то.

— Сколько не хватает?

— Не знаю, у кого не хватает, а у меня, что навешали весы — все в сеновале...

— Я спрашиваю, — повторил Заметаев резко, перебивая Маркушина, — есть у вас недостача?

— Нету! — громко, почти крикнул, Маркушин.

— Садитесь, — распорядился Заметаев. — Управляющий вторым отделением товарищ...

— Яцеванов за него, — сказал, поднявшись, сутулый и пасмурный Филипп Кузьмич.

— Какая у вас недостача?

— Нету ее.

— Вы это заверяете?

— Абсолютно!

— Садитесь. Товарищ Рохин!

Опершись руками о подлокотники, скрипнув сиденьем, Рохин поднялся.

— Что скажет главный агроном? Сколько недостает сена в сеновалах совхоза?

— Петр Петрович, — начал дипломатично Рохин, — у меня на подотчете сена нет. Оно у фуражиров. Они его принимали, они его сейчас и выдают. Я считаю, что сам себя обвешать может только дурак. Фуражиры здесь, они могут сами сказать...

— Я спрашиваю вас, Сергей Иванович, как главного агронома: есть у вас в совхозе недостача?

— Недостачи нету, Петр Петрович! — сказал со злостью Рохин. — Это Волохов желаемое принимает за действительность. Ездит по району, брякает, сеет смуту вокруг, а вы верите! Недостачу можно иметь тысячу центнеров, но не десять, как ему хочется! Пусть больше смотрит, чтобы корма доходили до животных, не растаскивались! А он вместо контроля гоняет по райцентру с жалобами...

— Садитесь, Рохин, — остановил Заметаев размахивающего руками агронома, не скрывая, что эти слова ему пришлось по душе. — Жалиться никому не возбраняется, если для этого есть основания.

Заметаев сделал паузу, передвинул шапку на столе и приступил к заключительному слову тем же высоким, назидательным тоном:

— Я не спрашиваю главного бухгалтера и бухгалтеров отделений... У нас просто нет времени на это! Но скажу: товарищи руководители, имейте в виду, на днях пришлю комиссию. Если она найдет недостачу — дело будет немедленно передано в прокуратуру! И все, кто заслужил, получают что положено! У меня все. Есть вопросы? Нет? Все по рабочим местам!

«Для чего нужен был этот маскарад? — огорченно думал Волохов, выходя из зала. — Разумеется, чтобы все приготовились к встрече авторитетной комиссии... Эх, правда-матушка, где же ты затерялась! Рохин выступил как обвинитель... Артюхову сказать было нечего... Марионетка!»

10.

Рохин спал в эту ночь сквернее некуда. Вчера после отъезда Заметаева его немедленно позвал к себе Артюхов. Проходившая с глазу на глаз беседа, которая скорее походила на инструктивное наставление директора, была недолгой, но до крайности неприятной. Артюхов не находил места в кресле. Таким его Рохин никогда не видел — нос и губы бледно-синие, щеки побелевшие с мелкими склеротическими сосудами. Когда перекладывал бумаги на столе, пальцы дрожали.

— Ты что? Хочешь, чтобы меня скорее турнули из кабинета, как безмозглую пешку?

— Павел Ильич, вы зря беспокоитесь, — поспешил перебить директора Рохин. — Что числится на бумаге, есть и в сеновале... За два месяца скормили много, рабочим раздали.

— Лично сам проверь, чтобы фактические остатки соответствовали книжным. Но меня сейчас, Рохин, не это волнует, а твои лишние, то есть скрытые площади, которые ты засевал.

— Павел Ильич, какие скрытые?

— Такие скрытые! Ты думаешь, если я молчу, значит, ничего не знаю?

— Это доказать, Павел Ильич, трудно.

— Трудного здесь ничего нет, если об этом сами механизаторы говорят.

— Для механизатора нет разницы, какой гектар обрабатывать.

— Замолчи и послушай, что о тебе Волохов мне сказал...

— Что вы все Волохова мне суете! — вспылил Рохин. — Наплевать мне на него! Волохов — звезда в небе.

— Наплюешь потом, вперед выслушай! Он так сказал: «Рохин на моих глазах в совхозе более трехсот гектар пастбищ распыхал, хотя пашня в годовых отчетах не добавилась». Еще говорит, что ты сеешь на них зерновые, как на зеленку, а косишь зерном и даешь району липовую урожайность. Ты понимаешь? Хочет написать в край и вызвать комиссию с этой... аэрофотосъемкой. Ты понимаешь, что будет, а?! Три года не проработал и раскусил тебя пополам. Он не спросил нас с тобой — пошел к первому секретарю. Завтра напишет на тебя в крайком партии. Он так и сказал: «Мне терять нечего!» Тогда, Рохин, от меня помощи не жди — выкручивайся как хочешь! Мне до пенсии остаются считанные годы. Вон министров не жалеют, а нас с тобой — тьфу! и нету. С партии — долой и твою заслуженность — под зад мешалкой! Время-то не то, Рохин, чтобы врать. Все — уходи! Сколько ты мне доставляешь хлопот, волнений, горя!

Никогда не думал Рохин, что его злейшим врагом может оказаться твердолобый и настырный зоотехник в лице Волохова. Умом он понимал, что зоотехник зависел и всегда будет зависеть от того, как работает он, агроном. Но по-настоящему, кожей почувствовал эту зависимость Рохин только сейчас. И только сейчас понял до конца давним-давно сказанные слова заведующей кафедрой агрономии Лилией Михайловной Кухтояровой. Она тогда подняла над головой в своей маленькой изящной руке годовой производственный план и торжественно произнесла:

— И только после того, как вами будет рассчитана итоговая кормовая база для животноводства на год, вы должны понести этот план

к зоотехнику, помня, что вы являетесь его злейшим врагом! Почему злейшим? Потому что только на предложенные корма он может выдать годовую животноводческую продукцию. Именно так, а не наоборот. Зоотехник будет всегда считать своим злейшим врагом агронома, потому что его деятельность, если хотите, творческое проявление в животноводстве зависели и всегда будут зависеть на добрых три четверти от стабильности развития в вашем хозяйстве кормовой базы.

Студенты смеялись. Смеялся и Рохин. Уже тогда, на студенческой скамейке, он ощутил в себе магические силы, которыми награждало его одно только звание — агроном. Потом, в хозяйстве, с каждым годом работы эти силы стали наращиваться и крепнуть. Появилась уверенность в правильности своих расчетов и действий. Постепенно уверенность переросла в известность, известность трансформировалась в районную знаменитость. Наконец ему присвоили заслуженного — итоговая вершина сладострастной славы. Он познал, чего требуют от него, усвоил главное в своей работе: хлеб — политика, хлеб — слава, хлеб — голова. Потому любым способом — даже нечестным — хлеб, хлеб и хлеб. И его заслуги признали в районе. Все хорошо. Было хорошо, пока не появился на пути Волохов. Встал, словно отлитый из бетона. Как его обойти? Нужно срочно подтереть кое-какие свои отчеты. Жаль, что всего не подотрешь. Они размножены и переданы в сейфы управления, райкома партии.

Забывся Рохин тяжелым предутренним сном, а когда открыл глаза, увидел, что опоздал на утреннюю планерку.

Артюхов всегда чувствовал себя директором, потому не замедлил сделать положенное замечание:

— Кажется, уборочная давно закончена, а Рохин опоздал на четверть часа. Опоздал — не заходи, не мешай работать!

Путь в контору первого отделения Рохин проделал пешком. Погода продолжала ухудшаться. К поземке добавился снег. Было похоже, что разыгрывается настоящая пурга. Рохин радовался: хорошо бы покрутил с недельку, чтобы заровняло все сеновалы, нужно любым путем выиграть время.

Контора первого отделения всегда нравилась Рохину чистотой, уютом, постоянным теплом, исходящим от натопленной печки. Нравился ему и умный, по-настоящему разворотливый хозяйственник Маркушин. Они с полуслова понимали друг друга. Таким легко руководить. Правда, не всегда ему удавалось переубедить управляющего, хотя соглашался, кивал головой, а делал иногда по-своему.

Вооружившись очками, Маркушин восседал в своем кабинете за небольшим полированным столом. Под его тяжелым, большим телом стол издавал стоны. Ответив на приветствие, он продолжал упорно считать на счетах и записывать в тетради.

Рохин разделся и повесил одежду на деревянные колышки самодельной вешалки.

— Хоть круть-верть, хоть верть-круть, а две тысячи центнеров сена надо списывать из сеновала актом, — снимая очки, вздохнул Маркушин. — Вчера мы, после того как послушали Заметаева, пошли и все скирды обмеряли сами, пока не замело снегом. Уж натягивали-натягивали обмеры! Больше некуда. Волохов засчитал, и я не стал выбрасывать объем проходов под принудительной сушкой у шести кладей.

— Это почему? — Рохин в удивлении сощурил глаза.

— Потому что их нет в сеновале.

— То есть как нет? Василий Устинович?

— Очень просто — нету! Прав Волохов, а я — старый пень, дурак!

— Ты что говоришь? Куда оно девалось?

— Будто ты не знаешь, Сергей Иванович, младенцем прикинулся! Его никогда и не было в сеновале!.. Зеленку-то с поля выдали рабочим

по твоему указанию, а показали, что она завезена в сеновал. Оприходовали три тысячи центнеров.

— Значит, туфта у вас?

— Она как у нас, так и у вас! — сердито засопел Маркушин. — Я ее делал по твоему указанию. Как не хотел! Все же, дурак, согласился... Насчитает комиссия недостачу — вы в стороне с премией, а я — в бороне с прокурором!.. Один год до пенсии, и так обмишуриться.

Маркушин сокрушенно качал седой головой.

— Почему такая разница, Василий Устинович? — слова сощурил глаза Рохин, словно хотел вдалеке увидеть то, что не смог рассмотреть в свое время Маркушин.

— Потому и разница! Поле развезли по домам, а когда сосчитали квитанции по оплате, набрали только пятьсот центнеров. Оприходовали три тысячи, а оплатили — пятьсот!.. Понятно теперь?

— Да-а-а, — протянул Рохин и почесал затылок. Но здесь же снова взбодрился. — Василий Устинович, надо что-то придумать!

— Уже придумал. Пятьсот центнеров за два месяца зимовки я сплсал на животноводство, а две тысячи — придумывайте вы с директором! Я сегодня напишу акт, а вы там, наверху, решайте. С меня хватит!

11.

Все поступившие бумаги — заявления, просьбы, акты, накладные, почту из района — Лида Мазанкина складывала в специальную папку, которую обычно относила Артюхову на просмотр во второй половине дня.

Артюхов всегда начинал решать и подписывать легкие бумаги, не требующие большого умственного напряжения. Тяжелые оставались на конец дня, самые тяжелые — на следующий, а некоторые лежали неделями или не подписывались совсем.

Акт Маркушина Артюхов читал последним. Вот чего захотел управляющий — собственные недоработки перевалить на директорские плечи! Хитер мужик — почувствовал, что жареным потянуло, актик на стол. Все понятно — каждый хочет обезопасить себя. Подписать этот — завтра поднесут с третьего отделения, там еще больше недостача — сто семь килограммов в кубометре. Не без греха и второе отделение — тоже сочинят. Что ж, выходит, прав Волохов — скот общественный кормить опять нечем будет. Следовательно, подписать приговор на себя и документально подтвердить правоту главного зоотехника?

На расширенной планерке, где присутствовали все главные специалисты, управляющие, агрономы, бухгалтера отделений, Артюхов, не зачитывая, сказал об акте Маркушина и спросил:

— Почему его не подписал главный агроном?

— Не знаю, — ответил Маркушин. — Отказался.

— При чем я? — спросил Рохин, не вставая. — Я не подотчетное лицо. Я не принимал его и списывать не собираюсь!

— Так, понятно. Тогда просим объяснить товарища Маркушина: куда девались две тысячи центнеров сена?

Если б Маркушин был с ним сейчас наедине, он высказался бы напрямую. Но Василий Устинович понимал, когда вокруг сена горит сыр-бор, высказываться прямо нельзя, не то время, тем более, что все очень близко, как нательная рубашка, касается его самого.

— Павел Ильич, — сказал он, вставая, — в акте написано, что сено вывозилось с полей — все знают — после дождей влажным на эти... решетки и электровентиляторы для искусственной сушки. У нас

шесть скирд — посчитайте сами. Земли было много в сене. Потом овес скошили спелым на зеленку, прошляпили, упустили сроки... через весы прошел и, пока стоговали, весь осыпался. Скормили мы эту кладь как солому. Еще весы у нас ломались в самый разгар сенозаготовок, варили сваркой...

— Значит, прав главный зоотехник?

Эту фразу Артюхов произнес намеренно, чтобы поблажить самолюбю Волохова и показать, что он всецело на его стороне, дескать, видишь, что делается за спиной директора.

— Прав не прав, не знаю. Я тоже не виноват, что пришлось сырым возить. Моя вина, что я забыл сделать скидку и этот акт раньше...

Артюхов помолчал.

— Вы сейчас наговорите мне: то мокрое, то зеленое, то весы поломались, то земли навешали! Я подпишу акт — у вас избытки появятся для разбазаривания. Ничего никому подписывать не буду! Пусть лежит этот акт, как акт безграмотного, безответственного хозяйствования отделения и агрономической службы совхоза.

«Пускает пыль в глаза и не краснеет. Считает себя умным, а остальных идиотами, точно!» — думал Волохов, поражаясь лицемерным словам директора. Но был доволен тем, что в конторе появился этот первый и, конечно, последний документ, который полностью подтверждал его правоту.

12.

Выезду авторитетной комиссии райсельхозуправления воспрепятствовали длительные метели. Скирды в сеновалах замело снегом так, что к ним не только невозможно было подступиться с обмером, но и трудно было взять сено на корм скоту. Чтобы облегчить работу, на помощь направлялись бульдозеры. Каждый прожитый непогожий день давался животноводам в борьбе и напряжении. Наконец наступили долгожданные ясные дни. Термометр опустился к отметке минус пять. Теперь природа испытывала животноводов холодом — и опять борьба с перемерзшими трубами водопроводов, холодом в помещениях.

Но только чуть ослабли морозы, Волохов погрузил скот и выехал на мясокомбинат, а Артюхову этим утром позвонил главный агроном управления Слепцов:

— Павел Ильич, завтра приедем по проверке жалобы вашего главного зоотехника. Прошу, чтобы все главные специалисты были на месте.

Артюхов хотел было сказать, что Волохов сегодня выехал на мясокомбинат и приедет дня через три, но вовремя спохватился — пусть едут, сказать можно и завтра.

— Понял, Иван Акимович. Если не секрет, кто будет в комиссии? — Голос Артюхова звучал весело, с елейной подобострастностью, будто ожидаемая комиссия — долгожданный почетный гость.

— Будем и я и Бутыленко, часов так в десять — половине одиннадцатого.

Артюхов тотчас вызвал к себе Рохина.

— Завтра приезжает комиссия по проверке сена, Сергей Иванович.

— Кто — не знаете? — Рохин застыл в напряженном и нетерпеливом ожидании.

— Слепцов и Бутыленко.

— Двое? — не скрывая радости, воскликнул Рохин.

— Тебе опять мало? — тоже повеселев, с нарочитым укором спросил Артюхов.

— Наоборот! Гаврилу Васильевичу двести грамм — и можно не

считать членом комиссии. Га-га-га! — от души рассмеялся Рохин. К нему возвращалась уверенность.

Артюхов тоже погыкал и снова стал серьезным.

— Сергей Иванович, удивительный ты человек. Едет комиссия, а он — ха-ха. Не те времена, когда можно было сунуть двести грамм! — заворочался в кресле Артюхов. — Или забыл?

— Я с вами согласен, Павел Ильич, — ответил Рохин. — Им сейчас не до комиссий — начали создавать районный агропром. Делят портфели и кабинеты. Агропром! Сменят одно название, вывеску, а специалисты останутся прежние, и работа останется прежней. Я в этом убежден.

— Возможно, — уклонился Артюхов от прямого суждения. — Поживем — увидим. Давай закончим разговор о завтрашнем дне. Я думаю, Сергей Иванович, ворон ворону в глаз не клюнет. Слепцов, пожалуй, не станет яму под тебя рыть. Но, считаю, не грех обезопаситься, чем черт не шутит... Завтра с утра смывайся из совхоза.

— Куда? — Рохин от удивления даже открыл рот.

— Куда хочешь. Уедь в район, придумай какие-нибудь срочные бумаги. Я скажу, предупреждал тебя, но куда-то делся. Волохова тоже нет. Потолкаются в бухгалтерии, пошлю в отделения. Там сейчас тоже все сеновалы снегом забило. С тем и уедут. Но учти, тебе на второй день утром на планерке я объявлю прогул и выговор за самовольный выезд из совхоза...

Рохин крутнул головой и осклабился в ухмылке:

— Что ж, прогул — так прогул. Отработаю в посевную — га-га-га!..

13.

Маркушин, как всегда, нацепив очки на нос и расстегнув пиджак, сидел за столом над тетрадью. Он анализировал кривую надоев, пометал в тетради причины, которые повлияли на ее спад в отделении. Он ждал комиссию. Артюхов велел ни на минуту не отлучаться из конторы.

Слепцов и Бутыленко прибыли на узике. Как и наказывал директор, Маркушин встретил их с радостной улыбкой, словно дорогих долгожданных гостей. Тем более, что они действительно давно и хорошо знали друг друга, каждый знал слабости другого. Пошли обычные для встречи приветствия.

— Как здоровье, Василий Устинович? — пытал Маркушина, долго потрясая руку, юрист райсельхозуправления Бутыленко. — Давненько мы с тобой не встречались!

— Спасибо, Гаврил Васильевич, — отвечал взаимно Маркушин, тоже не выпуская короткопалой, крепкой руки юриста. — Пока терпимо. С тобой, Гаврил Васильевич, встречаться и приятно, и неприятно, как с прокурором!

— Это почему же? — вроде не понимая, удивился невысокий, крепкий, круглолицый Бутыленко.

— Если б встретиться где-нибудь в лесопосадке на зеленой лужайке — другое дело, — намекая на явно нерабочую обстановку, сказал Маркушин и повернулся к Слепцову, долго тискал костлявую руку, потом обоим помог раздеться, повесить одежду.

Слепцов достал пачку «Беломора» с предупреждением Минздрава, что курить вредно. Бутыленко тоже потянулся за папиросой, размял ее в коротких пальцах и, чиркнув спичкой, дал вначале прикурить Слепцову, потом с явным удовольствием затянулся сам, выпуская дым одновременно изо рта и носа. Делалось это молча, каждый думал, с чего начать свою не совсем приятную миссию.

— Ну, рассказывай, Василий Устинович, как идет зимовка скота

в отделении. Снег держать еще не начали? — спросил Слепцов, стряхивая пепел в пластмассовую черную пепельницу на столе. Маркушин не курил и в кабинете никому не позволял баловаться табаком, кроме приезжих районных руководителей.

— Пока идет хорошо. Правда, малость, на две десятых, потеряли молоко в бураны. Но наверстаем! — заверил Маркушин. — А снег держать начали сегодня. Пошел один трактор, завтра выпустим второй.

— Если все хорошо, то зачем пошли в райком с жалобой?

— Помилуйте, Иван Акимович! — поднял огромные ладони Маркушин. — Это главный зоотехник что-то обрушился на главного агронома. Сцепились, как бычки-трехлетки!

— Наверное, есть основание.

— Какое там основание, Иван Акимович! — возразил Маркушин, изобразив на лице страшное возмущение. — Подумайте сами: зачем бы я катил на себя бочку?.. Последний год пошел. На пенсию собираюсь.

— Василий Устинович, ты за равенство на первое декабря бухгалтерских остатков и остатков сена в сеновале ручаешься или нет? — направил пытливые серые глаза Слепцов на управляющего.

— Целиком и полностью! — жарко воскликнул Маркушин. — Жаль, конечно, что сейчас намело сугробы снега в сеновале и обмерить клади нет возможности... Сами бы убедились. Хотите, я сейчас фуражира позову — она подтвердит.

— Не надо, мы и так верим, — сказал молчавший до этого Бутыленко.

— Мы скормили две клади. В них было через весы уложено тысяча восемьсот центнеров. Вот у меня и в тетради все записано. Списали по кормовым ведомостям тоже такое количество. Это можете проверить в центральной бухгалтерии. Одну кладь мы продали рабочим по ведомости — тоже все сходится, в ажуре, — убежденно сказал Маркушин.

— Значит, сходится, — с радостью сказал Бутыленко.

— Конечно! Куда ему деваться?

Кривил душой Маркушин и под пытками никому бы не признался, что сразу, после угрозы Заметаева, не только перемерял клади, но и зазвал к себе в кабинет насмерть перепуганную Людмилу Сыромятникову и строжайше наказал ежедневно отпускать корма скоту меньше, чем было выписано в лимитных ведомостях главным зоотехником и директором. Как правило, животноводы, получая корма, не смотрели на весы, верили ей на слово. Этим Маркушин и решил воспользоваться, но так, чтобы не вызвать недоверия. Напуганная скамьей подсудимых, Сыромятникова дала слово все исполнить, как велит управляющий, и держать язык за зубами.

— Тогда все! Такой мы и дадим ответ первому секретарю райкома партии и вашему главному зоотехнику. Если все соответствует и сходится с весовыми данными в кладях, то и копать нечего! — с удовлетворением заключил Бутыленко.

— Пожалуйста, давайте, — согласился Маркушин с юристом и, помолчав, спросил: — А почему с вами нету Рохина?

— Не нашел Артюхов, шофера домой посылал... Сказали, что-то срочно выехал в район. Главный зоотехник отправился со скотом на мясокомбинат... Как нарочно, — сказал Слепцов.

Однако сожаления в его голосе не чувствовалось.

14.

Вернувшись из командировки, первое, что увидел Волохов на черной лакированной доске в конторе, это свежий приказ, подписанный рукою Артюхова:

«За самовольный выезд из совхоза главному агроному тов. Рохину С. И. объявить выговор и 14 декабря с. г. считать прогулом».

У доски с удивлением перечитывали необычный приказ и здесь же комментировали его.

- Ты смотри, вот так Рохин! Уже не признает директора...
- Как ни говори, заслуженный.
- Хоть как заслуженный, а директору должен подчиняться!
- Это мы с тобой — только не Рохин!
- Артюхов молодец — не посмотрел на заслуги, выговор с прогулом! Круто!

Спустя полчаса Волохов узнал о комиссии, приехавшей в его отсутствие, и догадался о настоящей причине «самовольной» отлучки Рохина. «Жаль, — думал он, — без меня состоялся заключительный акт комедии... нет — трагедии. Для меня — это трагедия. Пружина раскрутилась и затихла. Рохин сбежал. Хитер мужик: славу — себе, розги — другим! Пусть пока бежит... отделался испугом. Передохнем и продолжим все в июне будущего года, с началом новой сенокосной кампании».

15.

— Почему, Борис Романович? — повторил Гришаковский и, чувствуя, что вопрос звучит неуместно, стал сбивчиво оправдываться: — Конечно, каждый... может без объяснений... имеет право — голосовать или нет... но... Ставлю вопрос на голосование: кто за то, чтобы избрать кандидатом на пост секретаря парткома совхоза Рохина Сергея Ивановича, прошу голосовать.

Пятеро членов парткома подняли руки.

— Кто против?

Против был Волохов.

— По большинству голосов утверждается товарищ Рохин. Теперь, товарищи, давайте на Сергея Ивановича дадим партийную характеристику, которую мы должны отвезти в районный комитет и в которой — меня предупредили — должно быть указано не менее двух отрицательных черт кандидата. Прошу! Могут высказываться все — и члены парткома, и приглашенные. Чем дольше мы будем думать, тем дольше будем сидеть в этой духоте.

Мало-помалу Вадим Григорьевич расшевелил зал, появились короткие, с места характеризующие кандидата высказывания, уточнения, добавления.

— Трудолюбивый.

— Настойчивый.

— Точно. Если скажет, то лучше выполняй: все равно своего добьется!

— Больше всех в районе засеял пшеницы по интенсивной технологии.

— Правильно, его заслуга!

— План по сдаче зерна государству выполнил на сто двадцать пять процентов.

— Пятнадцать лет лучшую в районе урожайность по зерновым держит!

— В уборочную до двух часов ночи с нами на полях толкется...

— Одним словом — заслуженный...

— Дать хорошую характеристику — и все!

— Согласен, — сказал Гришаковский. — Что вы сейчас назвали, мы запишем как положительные черты товарища Рохина. Теперь давайте назовем две отрицательных.

В зале воцарилась неловкая пауза — назвать в Рохине плохое никто не решался.

— Идеальных людей нет, — утверждал, уговаривая, Гришаковский, — хоть что-то незначительное, да имеется у каждого человека отрицательное!

И снова в наступившей тишине колоколом прозвучал голос Волохова:

— Разрешите мне! — Поднялся, настроенный по-боевому главный зоотехник. — Я голосовал против и, естественно, должен пояснить, почему. Вношу предложение записать в партийную характеристику товарища Рохина такие слова: тщеславен или страдает тщеславием. Это первая отрицательная черта...

— А что оно обозначает? Как понять — тщеславен? — подняла в простосердечии подведенные брови Кривенцова.

— Обозначает, что человек безудержно стремится к славе, почитанию, — пояснил, чуть задумавшись, Волохов. — Слава любой ценой.

— Что ты мелешь? — перекосив в ярости тонкие губы, закричал Рохин. — Весь совхоз перебаламутил! Весь район поднял на ноги! И опять прицепился ко мне, как банный...

— Сергей Иванович! — вмешался Гришаковский. — Ведите себя как коммунист.

— Я не прошу на пост секретаря, — запальчиво продолжал Рохин. — Нечего меня и обсуждать. Нечего выискивать на мне черные пятна. Пусть лучше на себя посмотрит.

— Сергей Иванович! У нас партком или базар?

— Чабаны пьянствуют, а винит главного агронома — мало пастбищ! — продолжал Рохин.

— Товарищ Рохин! — крикнул Гришаковский, не выдержав, и когда заслуженный агроном наконец умолк, кивнул Волохову: — Продолжайте, Борис Романович.

— Чтобы понятней было всем, что такое тщеславие, приведу пример. Давайте допустим, что завтра у нас заберут товарища Артюхова директором в другой совхоз или снимут по какой-то причине, а поставят на его место Рохина Сергея Ивановича. Тогда мне, главному зоотехнику, Рохин станет лучшим союзником и другом, так как его директорское кресло будет стоять неустойчиво и падать от плохого состояния животноводства... Тогда его тщеславие не потерпит, чтобы животноводческие планы систематически недовыполнялись, а продуктивность десятилетиями топталась на месте. Рохин по образованию биолог и понимает, что без роста кормовой базы в совхозе (количественно и качественно) не будет роста продуктивности животных... Я уверен, что тогда, как директор, он заставит главного агронома приходить сено обмером, зерноотходы очищать от половы и земли, подобранные зеленые валки с обкосов полей списывать на животноводство зеленой, а не зерном, как сейчас. Все эти меры и действия ни в коем случае — повторяю, ни в коем случае! — не отразятся на сдаче зерна государству, они только резко уменьшат нашу дутую урожайность зерновых. Если правильно отразят затраты на полеводстве и животноводстве. Несколькими годами возрастет себестоимость продукции растениеводства, зато животноводство при реальной, не дутой, кормовой базе добавит продуктивность, выполнит свои планы, а хозяйство в целом станет устойчиво работать с прибылью. Такова цена тщеславию главного агронома... Товарищи! На мой взгляд, главный агроном страдает еще одной слабостью, еще одним недостатком — очковтирательством. При мне в совхозе распаяно более трехсот гектар пастбищ. Они засеваются якобы на зеленую

подкормку, а фактически скашивают на зерно, чтобы перевыполнить государственный план хлебосдачи...

Рохин, еле сдерживая себя, в бешенстве кусал тонкие губы. «Почему этот желторотый птенец не остановит его? — думал он о Гришаковском. — Нельзя же все говорить до конца! Для правды нужно тоже иметь границы. И этот старый осел, — думал он об Артюхове, — сидит, уши развесил!»

«Сегодня критика — бальзам для нас. Больше деловой критики! — вспомнил наставительные слова первого секретаря райкома партии Гришаковский и подумал: — Пусть говорит Борис Романович. Не зря я его председателем группы народного контроля выдвинул!»

По залу побежал все возрастающий шум, появились возгласы, выкрики:

— Вот оно что!

— Отсюда неплановые гектары!

— В газете пишут: совхоз закончил хлебоуборочную, а мы еще вовсю косим!

— Потому что не числятся в бумагах!

«Похоже, Гришаковский наслаждается избиением Рохина.. Пора заканчивать этот базар», — подумал Артюхов и начал быстро вертеть головой то на Гришаковского, то на Волохова, то на зал, чувствуя, что накаленная до предела обстановка может закончиться непоправимой бедой. Артюхов встал и в его глазах был один вопрос: что сказать?

— Товарищи, тише! — крикнул Артюхов, чтобы разрядить обстановку, и, стремясь остановить Волохова, сердито спросил:

— Все у тебя?

Волохов отлично понял тон вопроса: прекрати мутить воду — и также резко ответил:

— Все у меня!

— Товарищи, тише! — снова решительно, с необычной сухостью распорядился Артюхов. — Я сейчас вам разъясню слова товарища Волохова.

Павел Ильич был потрясен тем, что сейчас услышал. Его поразили глубоко продуманные, точные слова Волохова, которые закрепили не только Рохина, но и Артюхова. Первый — тщеславный, второй — слаб как руководитель! Идет на поводу, потакает действиям главного агронома. Самолюбие Артюхова было публично уязвлено и унижено. Что делать? Отчитать Волохова за «фантазию» или все пропустить мимо ушей, будто ничего не понял?

Наконец Артюхов решил прикинуться непонятливым.

— Товарищи, предложение Волохова, я считаю, явилось следствием их взаимной личной неприязни друг к другу. Со своей стороны, я поддерживаю первое предложение товарища Волохова, но считаю нужно заменить всем непонятное слово «тщеславный» на слово «зерновик». Для зерна он весь выстилается, а для кормов его нет. Работает однобоко. Хочу пояснить, что правильно сделал Сергей Иванович, распахав плохие пастбища и засеяв их, чтобы больше получить кормов. Но, товарищи, у нас не хватило духу и разворотливости убрать их на зеленую подкормку или сенаж... Пока собирались, однолетние злаки созрели на зерно... Получили зерно! Это плохо? Второй отрицательной чертой Сергея Ивановича предлагаю записать грубость к подчиненным...

Артюхов заулыбался, голос перетрансформировался в медово-извиняющийся:

— Вспомни, Сергей Иванович, как ты понуждал заправскими матюгами Андрея Всеволодского... Я подъехал, услышал — уши завяли!

По залу покотился смех:

— Бывает!

— Иногда срывается, — согласился Рохин, снимая с лица напряжение и улыбаясь. Он с глубокой благодарностью понял, что директор не только пощадил его самолюбие, но и спас, внося на обсуждение такие его отрицательные черты, которые всем известны и в совхозе, и в райкоме.

За предложенную партийную характеристику члены парткома проголосовали дружно. Только Волохов снова поднял руку против.

Разгоряченный зал наполнился облегченными вздохами, зашумел, предвкушая окончание парткома, а за этим — свежий воздух на улице.

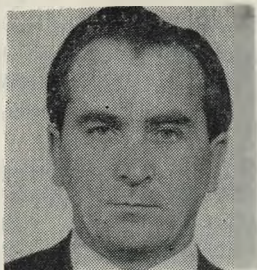
Закрывая заседание, Гришаковский по настоянию Артюхова, попросил задержаться членов парткома. Как только опустел зал, Артюхов набросился на секретаря:

— Вадим Григорьевич, ты зачем так сделал? Зачем мы отыскивали у Рохина недостатки при нем? Знаешь ли ты, какой он щепетильный, обидчивый и злопамятный? Почему бы нам не собраться вот так, одним, и записать, а ты бы зачитал — и все! Для него осталось бы тайной — кто что предлагал. Партком — и все! Ты — молодой, Вадим Григорьевич, необстрелянный. Запоминай! Впредь прошу во всем со мной советоваться. Ясно?

— Ясно, — вздохнул Гришаковский, — на ошибках учимся...

Волохов вышел, как только разрешили. На душе было тяжело. Его мнение осталось при нем. Не разделили. Может, и правда он излишне требователен к себе и окружающим? Может, ему больно за свое постоянно угнетенное самолюбие специалиста? То есть и в нем гнездится червь тщеславия и точит, сосет его изнутри?

Неужели ему одному дано было увидеть, что на состоявшемся сейчас парткоме жесткое стало мягким, острое — тупым, без того ясное выпятилось и заблестело еще сильнее, что надежно маскировалось — упрятано навсегда. «Если мы, коммунисты, даем положительную характеристику коммунисту-очковтирателю, то кто мы? Какую следует дать характеристику нам, членам парткома, после этого? О, если б искоренить ложь и приписки, какое было бы мощное ускорение в производстве! Как очистились бы люди от шелухи, показухи, тщеславия, чванства! Неужели отступлюсь? А жизнь уходит... Нет, Рохин! Кожаная моя выдублена, выдержит. Терять мне нечего — и главный бой наш впереди!»



Игорь ПАНТЮХОВ

КОРАБЛЬ ДРУЗЕЙ

К 50-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И. М. ПАНТЮХОВА

Игорь Пантюхов не воевал, но он принадлежит к тому поколению, чье детство опалено грозным пламенем забываемых битв. Преемственность боевых традиций просматривается во многих стихах цикла «Корабль друзей». Вот характерные для автора строки:

*«Нынче много на планете тишины,
Нынче — новое в погонах поколение,
Но ведем свое мы летоисчисление
Не от дней рожденья наших — от войны...»*

Игорь Пантюхов моряк, сын моряка революционного Балтийского флота, он отдал морю лучшие годы. Старшиной первой статьи срочной службы на подшефном алтайскому комсомолу крейсере «Свердлов» стал он членом Союза писателей СССР. На всю жизнь отметило его море личной печатью, как бы зачислив в штат своих поклонников и почитателей, а, вернее, в число своих работяг. Об этом свидетельствуют и многие стихи из новой — десятой! — книги поэта, которому в этом году исполняется 50. И все же в каждом из его стихотворений постоянно присутствует Земля.

Кстати, сама идея создания такого сборника, адресованного, с одной стороны, конкретным людям (писателям, художникам, труженикам земли и моря, с кем сводила судьба Игоря Пантюхова), с другой — современному читателю, поскольку каждое стихотворение как бы приглашает к раздумьям о цене таких непреходящих понятий, как Отчизна, дружба, верность... У лирического героя стихотворений Игоря Пантюхова беспокойное сердце, потому что «Родина, по сути, только-только оперлась о нас...» Но это не только переживание, это, если хотите, взгляд в будущее, уверенность, что «мы еще попишем и попашем, мы еще покрутим по земле...»

Стихи поэта лиричны, доверительны, выстраданы жизнью. Вообще его строки как бы очищающие и в то же время настораживающие, не дающие покоя: «А когда ветра войны задуют, полыхнет смертельная страда — города друг с другом не воюют, но бесследно гибнут города...» И пока это возможно — надо быть настороже. Всем!

*Михаил Борисов, Герой Советского Союза,
лауреат премии им. А. Фадеева.*

КОРАБЛЬ ДРУЗЕЙ

Если вы с ними встретитесь, часом, —
я вам обещаю,
Что они вас с собой,
как однажды меня,
позовут...
Я все чаще с годами
себя кораблем ощущаю,
Кораблем,
в чьих отсеках
хорошие люди живут.
Да, живут,
хоть иные
уже в невозвратном далече.

Как в рассветном тумане
растаяли их паруса.
Но тепло их ладоней
хранят до сих пор мои плечи,
И ночами я слышу
негромкие их голоса.
Их подчас прерывает
бессонный звонок телефонный:
— Вызывает Хабаровск...
— Одесса...
— Москва говорит...
Я — связной между теми,
кто в Лете сокрылся бездонной,
И кому только-только
шагнуть за порог предстоит.

Все мы — звенья живые
 в цепи бытия бесконечной,—
 То, что дал мне отец —
 сыну гены мои донесут...
 Суд сыновний страшнее,
 чем Страшный,
 суровой, чем Вечный,
 Тот, в пещерных потемках
 придуманый предками Суд...
 Есть еще суд друзей.
 Я на суд этот выйду без страха.
 За полвека меня
 не однажды пытала беда,
 Но ни разу моя
 просоленная потом рубаха
 Ближе к телу —
 рубахи чужой! —
 не была никогда.
 На моем корабле
 очень разные люди бывали,
 Повидать довелось
 бунтарей,
 и бойцов,
 и «бичей»,
 И педонков,
 что, часом,
 кингстоны в трюмах открывали,
 И как крысы коварно
 скрывались во мраке ночей.
 Им казалось тогда,
 что уже решена моя участь,
 Что вот-вот мой корабль
 совершит роковой оверкиль,
 Но вставали друзья,
 и вели мы борьбу за живучесть,
 Не считая пробоин,
 не меряя пройденных миль...
 И под тихую песню
 машинного ровного гула
 Синевой заливала
 воскресший корабль вышина,
 И звучали на баке
 то колкие шутки Смуула,
 То гитара Рубцова,
 то хриплый басок Шукшина...
 Я спокоен теперь.
 Я потерь не ищу.
 И находок,
 Тех, что раньше манили,
 уже почему-то не жду.
 Я упрямо иду,
 хоть совсем не форсирую хода,
 Знаю,
 ждут меня где-то,
 вот я потому и иду...

ПОТОК

Поэт на земле неудобен
 Всегда, с незапамятных пор.
 Поэт в своей жизни подобен
 Лотоку, летящему с гор.
 Летит напрямик, не петляя,
 Сквозь толщи породы пустой,
 Летит, берега высветляя,
 И моет песок золотой.
 А если бесформенный камень
 Встречь струй его будет стоять, —
 Он станет веками — веками! —
 Из камня богиню ваять.
 И люди, узрев Афродиту
 Среди серых гранитных столбов,
 Поймут,
 что сильнее гранита
 Живая, земная любовь.
 А в память о прежнем потоке,
 Венчая любви торжество,
 Упрямо помчатся потомки
 По светлому руслу его...

ТВОЙ ПЕРЕВАЛ

«На высокогорье Сунтар-Хаята
 открыт труднодоступный перевал,
 названный именем Владимира Вы-
 соцкого»

Из газет

Занесет меня туда едва ли,
 Хоть к чему гадать и предрешать?
 Ты стоишь один на перевале,
 Где ни петь, ни думать, ни дышать,
 Даже не согреться сигаретой,
 Положив гитару меж камней.
 Не отпевший, но молвой отпетый, —
 Я не знаю даже, что больней?
 Горы, отстояв, своими станут,
 Облака, отвьюжив, отлетят...
 Там, тебя, конечно, не достанут,
 Не затравят и не запретят,
 Не сожрут паскудски и по-скотски,
 Слава богу, времена не те...
 Слава богу, наконец Высоцкий
 Встал на недоступной высоте.
 Где одни метели завывали,
 Где до звезд вершины достают...
 На Сунтар-Хаятском перевале
 Твои песни ветры допоют...

ПРОВОДНИК

Н. Черкасову

Догорает головня,
 Сон на землю пал.
 Проводник, буди меня —
 Кончился привал!
 Ничего, что наш костер
 Догорел дотла,
 Ничего, что между гор
 Затаилась мгла,
 Ничего, что впереди
 Оползни да снег.
 Ты веди меня, веди,
 Добрый человек.
 Стыло, моросно, темно,
 Сапоги скользят —
 Нам с тобою все равно
 Нет пути назад.
 Долго нам еще идти
 Вверх, на перевал,
 Чтобы тех следы найти,
 Кто до нас бывал,
 Кто оставил соли горсть,
 Сухарей запас,
 Нам — догнать их не пришлось,
 Им — дожждаться нас.
 Проводник, там нет пурги,
 Там светло... И все же
 Сухарей прибереги,
 Да и соли тоже.
 Там — свод неба голубой,
 Снег со сладким хрустом...
 Отдохнем мы там с тобой
 Перед долгим спуском
 В край, где все укрыл ледник —
 Не окинуть взглядом...
 Покури, мой проводник,
 Не спеши,
 Не надо!..

БЕССОННИЦА

Л. Мерзликину

И летом, и в зимнюю стужу,
 Когда непроглядно темно,
 Я внемлю случайному стуку,
 Негромкому стуку в окно.
 И я поднимаюсь тихонько,
 Ищу по карманам ключи,
 И думаю: «Вдруг это Ленька
 Опять колобродит в ночи!..»
 Я дверь открываю — и точно!
 — Входи, нелутевый, давай!..

— Не спится.

Не пишется.

Тошно!..

— Чай — будешь!..

— И чай наливай!..

Сидим, гомоним до рассвета
 В стихах, в сигаретном дыму.
 Проклятая доля поэта —
 Кому о ней скажешь, кому!..
 Терзают жена и эпоха,
 Гнетет равнодушия тишь.
 Когда ты взрываешься — плохо,
 Но хуже, когда ты молчишь.
 Когда тебя долго не слышат
 Ни друг, и ни враг, и ни бог,
 То знай, кто-то исподволь пишет
 Прижизненный твой некролог.
 Глядишь, и уже загалдело,
 Кругами пошло воронье...
 Эх, Ленька, давай-ка за дело,
 Привычное дело свое!..

ПО ШКАЛЕ НАДЕЖНОСТИ

В. Попову

Говорят — угловат,
 говорят — неудобен,
 И порой, говорят,
 слишком груб и упрям.
 Ну, а если бильярдному шару подобен, —
 Это лучше!
 Удобней!
 Привычнее вам!
 Чтобы так вот,
 катился, куда вам захочется,
 Не оставив следа на зеленом сукне.
 И не надо совсем ему имени-отчества,
 Разве — номер какой написать на спине.
 Было!
 Было уже.

Бессловесные «винтики»,

Помня имя одно наяву и во сне,
 О себе позабывшие Гарики, Витики
 «Смерть фашистам!» — варили огнем
 на броне.

Но настал светлый час,

и вздохнула устало,

Поправляя венки на могилах, страна.
 На граните своею рукой начертала
 Нетускнеющим золотом Их имена.
 И сегодня,

и впредь поверять себя ими нам,

И учиться идти не течением, а встречей!
 И всегда,

неотступно гордясь своим именем,

Незапятнанным имя чужое беречь.

И стараться не ранить друзей
по возможности, —
Рана в сердце у друга — не вдруг
заживет...

По шкале доброты,
по мерилу надежности
Кто тебя в час проверки своим назовет!
Жизнь — мы знаем, —
по всякому может составиться:
То — на взлет ты идешь,
то — колеса враскат.
Можешь в штопор уйти,
можешь тихо состариться, —
Я тебя не оставляю,
я — рядом, мой брат!
Да, порой ты упряма,
угловат,
неудобен,
Но не кресло же ты,
не диван, черт возьми!
Ты себе самому неизменно подобен.
Это — главное.
Будем же, люди, людьми!..

ТРИ МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

В этом нет ни сенсации
и ни новации, —
Это правило знает весь радиомир:
Дважды в сутки молчат корабельные
рации,
Дважды в сутки —
никто не выходит в эфир.
Пусть на судно валы беспощадно
бросаются,
Пусть тараном в обшивку торосы
стучат,—

Три минуты —
радисты ключей не касаются,
Три минуты —
в наушники впившись,

молчат,
Чтоб услышать,
поймать: три тире и три точки,
И еще — три тире — безысходное «СОС»!..
Говорят:
«Горе в море — не знает отсрочки...»
Значит — надо бежать,
хоть машины вразнос!
Хоть команда твоя —
только сети поставила,
Хоть по курсу — циклон,
хоть корма — «в бороде»..
Есть на море
одно непереносимое правило:
«Нет покоя нигде,
если люди — в беде!»
Только ты
можешь выдернуть их из отчаянья,
Хоть туда и другие спешат корабли..
...Я бы ввел на земле
«Три минуты молчания»,
Чтоб чужую беду
люди слышать могли.

Три минуты —
ни ссор,
ни речей,
ни ворчания.
Человек на земле —
что на судне матрос..
Тихо!
Замерли — все!
Три минуты молчания!..
Кто-то помощи просит, —
вы слышите! —
«СОС»!!!



Озолин Вильям Янович родился в 1934 году в Омске. Поэт, журналист, моряк. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Автор поэтических книг «Окно на Север», «Песня для матросской гитары», «Чайки над городом», «Возвращение с Севера», «Воспоминание о себе» и др.
Живет в Барнауле.

Вильям ОЗОЛИН

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ИНТЕРВЬЮ

— Что бы вы вернуть хотели!..

— Детство!..

— Ну, а вы!..

— И я вернул бы детство!..

До чего ж прекрасная пора!

Босиком по травке пробежишься,

после сна малинкой освежишься.

Солнце светит, дождь как из ведра!

Деревенька, речка по-соседству,

поле, лес —

глядеть, не наглядеться!

Травушка — хоть на второй укус!

Под окном — рябинушка, как свечка,

дома сухо, вкусно пахнет печка!..

— Ну, а вы!.. Чего кривите нос!

Вам, товарищ, неприятен, вижу,

мой вопрос!..

— Я детство ненавижу!..

Только вспомню — продерет мороз!

Тот мороз — голодный и военный

Не был я ребенком,

был согбенный

старичок одиннадцати лет!

Жмых в кармане, худенькие плечи.

Не был я ребенком —

человечий

был детеныш, кожа да скелет!

Оглянусь — и только голод вижу.

Я его ношу в себе, как грыжу!..

Прочь таких воспоминаний ночь!

— В первый раз такое слышу. Сроду

не слышал таких ответов!.. Воду

легче было б в ступе истолочь,

чем понять вас!..

— Не могу помочь!..

— Ваш ответ не поместит газета!

— Я и не рассчитывал на это.

Мой ответ совсем не для газет.

Вы спросили — я ответил честно.

Если ж вам другое интересно,

приходите через пару лет!..

Внук мой подрастет.

Он вам расскажет,

как он любит детство, и покажет

новенький совсем велосипед.

Он на нем,

как птица, пронесется!

И еще над нами посмеется:

— Кто ж не любит детство!!

Слышишь, дед!!

ФОТОГРАФИЯ

Я их фотографирую на память.

Кому на память, господи прости!!

Сосед мой, Гошка, одноногий парень,

и баба Катя — тросточка в горсти.

Я их фотографирую такими,

какие есть,

без позы и прикрас.

И рыжий кот, сидящий между ними, —

пусть и его заснимет фотоглаз.

Они — на фоне двух резных оконцев

[узор их так затейлив и пригож!],

мои два замечательных знакомца,

ничем не примечательны!.. А все ж

недаром и резьбу, и эти лики

я пригвоздил к Истории навек!

Соседей безымянных, невеликих,

из тех, что называют имярек.

Когда-нибудь, когда меня не станет,

какой-нибудь дотошный краевед

словечком добрым, может быть, помянет

меня за этот простенький портрет.

ТЮКАЛА

В давние времена про-
звали проезжие купцы
сибирскую деревеньку у
тракта за разбойничий
нрав Тюкалой...

Тюкала, Тюкала!
На Сибирь одна.
Не богатой была,
не была бедна.

По ночам жила —
не божилась.
Среди бела дня
спать ложилась.

Темна слава по ней,
ой, плоха молва!
Плачет плаха по ней,
а ей — трын-трава!

У тракта — юрга,
в юрге соечки.
А зимой пурга
и разбойнички.

По зиме Тюкала
улюлюкала.
Пропивалась дотла,
купца тюкала!

А купец — не простак,
дороги хвосты.
Не отдаст просто так —
уползай в кусты!

Не клади пальца в рот,
пустит кровь в ручьи...
В Тюкале сирот —
что слез девичьих...

.

* * *

Тюкала — впереди,
береги суму.
Тюкала — позади,
молись богу своему!

ЧЕСТНОСТЬ

иронические строки

В переулке
увидел двух нищих
и решил им пятак поднести.
Но от нищих разило винищем
так, что просто нельзя подойти!

Был один худощав, словно прыщик,
видно, пил он вино натошак.
А другой был потолще, почище,
то есть грязен, но все же не так.

Видел я, как они в лохматизах
на вино наскребли сообща.
Сбежать вызвался тот, что почище,
и вернуться назад обещал.

Щелкал ногтем о зуб и божился
верность дружбы до гроба сберечь,
до последней трепещущей жилки,
до последнего вздоха сиречь.

Не моральные, значит, уроды,
коли честность хотят соблюдать!
Ни тому, ни другому свободы,
мол, иначе вовек не видать!..

Но когда я домой возвращался,
в том же месте «прыща» увидал:
тощий, нищий,
как флюгер, вращался...
Все-то толстого нищего ждал.

Из синей тетради**СТРОКА**

Власть слова изреченного крепка!
И все же можно взять его обратно.
Но крепче изреченного стократно
однажды иссеченная строка.

Пусть даже на поверхности песка,
пусть даже и сотрет ее волною —
а мы уже разлучены с тобою
строкою той, как пулей у виска.

Бросок волны —
и след строки растает...
Строка, как чайка, в море улетает...
Строка — судьба, знаменье, кара, рок...

Не вырубишь, не выжгешь, не исправишь,
и ничего к ней больше не добавишь.
Не горьких дум боюсь... а горьких строк!

ПЕТРО

Был
черный летний вечер.
Пыл черный теплый ветер.

А ночь —
настолько черной,
что лунный свет померк.
Ресницы трепетали,
как дымный фейерверк!

Шептали губы близко,
и дрожь была опасной.
В кустах сверчки трещали
со страстью кастаньет.
Была ты — «Мона Лиза»!
Была ты — «Дама с лаской»!
Но —
как всегда бывает! —
вдруг наступил рассвет...

Спасибо, черный вечер!
Спасибо, черный ветер!
И всем сверчкам спасибо
за танец кастаньет.
Спасибо, Мона Лиза.
Спасибо, Дама с лаской.
Спасибо всем актерам
за ночь
и за рассвет!

* * *

Это бывает лишь в юности.
Это —
сердце разбитое, пепел и шлак...
В самом разгаре веселого лета,
вздорная, плечики вздернув, ушла...

Злиться, надеяться, мучиться, плакать!
Милая, что же наделала ты!
Так на перроне бросают собаку
среди равнодушной людской суеты.

Что ты наделала! Спелые гроздья
взглядов твоих позабыть не смогу.
Что ты наделала! Ржавые гвозди —
в сердце, как в лодке на берегу...

Сад городской. Опустела аллея.
Красный зрачок сигареты погас...
Ткнулся мне в локоть, любя и жалея,
маленький, как жеребенок, Пегас...

Маленький мой жеребеночек...
Это —
звездочка тихо по небу прошлась.
Юность. Любовь. Одиночество. Лето...
Вот наша дружба когда началась.

СИНЯЯ ПЕСНЯ

В память мою врезалась
так сильно,
что проходят годы,
но болит рана.
До сих пор в глазах моих
ты — синяя
голубица моя,
боль, радость.

Только я закрою
свои веки,
из твоей страны,
издалека,
все текут ко мне
синие реки
из твоего
синего ока.

Из твоих лесов
в мои стели
синие стада бредут —
твои думы.
Я давно их синего
молока не пил.
А без этого молока
пропаду я!

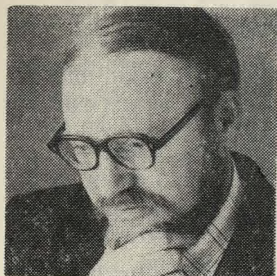
ЗВЕЗДОПАД

Когда уходит на закат
круг солнца,
красный и овальный,
и августовский звездопад
роняет с неба звон прощальный,

я — узник памяти твоей,
я — вечный каторжник разлуки,
повлечу спасительные звуки
и спрячу их в душе своей.

Там, в заповедной глубине,
они затихнут без ответа...
Но все-таки на самом дне
еще мелькнет полоска света!

Увижу я:
в чужом саду,
пересекая свет хрустальный,
как лист осенний, лист опальный,
на снег разлуки
упаду...



Ершов Леонид Тимофеевич родился в 1940 году в с. Залесове Алтайского края. Работал на Алтайском тракторном заводе. Окончил историко-филологический факультет пединститута. Преподавал литературу в школе, вузе. Много лет занимался журналистикой, работал в книжном издательстве. Автор двух поэтических и одной прозаической книг. Живет в Барнауле.

Леонид ЕРШОВ

ДВА РАССКАЗА

Очи черные

В июле приехала ко мне погостить двоюродная сестра Варвара, пенсионерка. Не сиделось ей дома — не могла привыкнуть к новому положению, когда весь день с утра до вечера в ее личном распоряжении. Свободное время мучило ее, угнетало, вот она и моталась по родне дальней и близкой, добровольно взяв на себя миссию наладить порушившиеся связи между родственниками.

Наладить она, конечно, ничего не наладила, но хоть, спасибо, напомнила, у кого кто есть, где живут, как живут. И то хорошо. А чтобы наладить... Время и расстояние так отдалили нас, что сблизить было уже невозможно, хотя Варвара старалась изо всех сил.

И вот она ехала ко мне. Дала упреждающую телеграмму, указала поезд, номер вагона. Все честь по чести.

День был жаркий, парило, обещало грозу. Поезд пришел в полдень с небольшим опозданием.

Варвара вышла из вагона с довольно объемистой сумкой. Одета в цветастое кимоно, она сперва показалась мне еще молодой, но это было первое, к тому же обманчивое впечатление. Мы обнялись, я взял сумку, всмотрелся в сестру — нет, годы не спрячешь под косметику.

Варвара пожаловалась на жару и духоту в поезде. Думала, что не вынесет дороги, но ничего, слава богу, доехала.

В городе, где я жил, Варвара бывала, но все равно на привокзальной площади приостановилась, осмотрела все окрест, и мы пошли дальше, на троллейбус.

— Твои-то здоровы? — спросила для порядка. Она их не знала, моих-то, жену и двух сыновей.

— Здоровы.

— Все ладно в семье? Не скандалите? А то как раз угожу на семейный концерт. Я этак-то к Людмиле угодила — день и пожила всего, только зря в дороге маялась.

Я ответил, что у меня лад в семье если и не идеальный, то во всяком случае жаловаться не приходится.

— Сидеешь, — сказала Варвара, удовлетворенная тем, что ее пребывание у меня обещает протекать в нормальной обстановке.

Она шла не быстро, чуть наклоняясь вперед.

— Годы, — отозвался я.

— Да... Годы... Некоторые товарки мои поумирали. Как вспомню — холодом обдаст.

— Ну тебе еще жить да жить, — лщу ей, чтобы перевести разговор на более оптимистическую ноту.

— Че там жить! Пятьдесят седьмой доходит. Там, глядь, шестьдесят. Желудком маюсь, печень болит. На что теперь надеяться-то? Не на што.

— На лучшее будущее, — говорю я искусственно весело. — Не горюй, Варвара Александровна, еще поживем.

Она никак не реагирует на взрыв моего оптимизма, идет себе, поглядывает по сторонам.

— Народищу у вас как в муравейнике! Глаза устают и не поймешь, кто, куда и зачем?

— Все по своим делам, — рассмеялся я, перекладывая увесистую Варварину сумку из правой руки в левую.

— Тяжелая, — сказала Варвара. — Я ее еле доперла до вокзала, а в вагон мне ее один мужчина помог занести.

— Что у тебя там? Кирпичи, что ли, везешь?

— Продукты.

— Что?

— Продукты, говорю. Че ты так глядишь? Свои, не ворованные.

— Да зачем?

— Ись, — простодушно отвечает Варвара.

— Как это понимать? Не надеешься, что накормим? Или так принято теперь — ездить в гости со своим хлебом?

— Холодильник отключила, че его гонять из-за куска мяса. Да я его ись-то не могу. Ну там еще кое-что, из тряпья. Набралось, в общем.

Я поинтересовался жизнью своих племянников — сыновей Варвары. Она ответила, что живут не лучше других, но и не хуже. Она у них по очереди гостила, считай, месяца три не была дома. Но сухость, с какой Варвара ответила мне, давала повод думать: она, скорее всего, осталась недовольна снохами, иначе обреталась бы до сих пор в Мурманске или Киеве, где жили ее сыновья...

Я помнил ее молодой. Варвара была веселая, острая на язык. Не красавица. Но мудро сказано поэтом:

Красота не у всех одинакова,
Одинакова юность у всех...

Зеленые и желтые листья формой схожи, сутью своей различны. Варвара в юности — зеленый листок, теперь — желтый. Считай, сорвало этот листок с дерева жизни — носит ветром по земле.

— А я хочу в Тимошино съездить, — говорит неожиданно Варвара. — От вас есть прямой поезд?

— Прямого нет, — отвечаю.

— Вот и плохо-то. Надо съездить в Тимошино. Ты-то не хочешь? Глянуть бы на свое родное село.

— Конечно, хочу.

— Так поехали на выходные, — с ходу начинает она агитацию.

Я не спешу с ответом, раздумываю.

— Поехали, Вить. Родина ведь наша. Меня че-то туда тянет, прям сейчас бы села и поехала. Я и к тебе-то, в основном, потому, что Тимошино рядом.

— Спасибо за откровенность.

— А че спасибо? Кому я сильно нужна. Поехали в Тимошино.

— Ладно, — соглашаюсь я, — съездим. Только не на поезде.

— А как? — недоверчиво спрашивает Варвара.

— Помнишь Громовых?

— Митьку? Сашку? Я их, Громовых, всех помню. Сашка-то за мной ухаживал.

— Вот с Сашкой и поедем. Хотя какой он Сашка — Александр Матвеевич. В возрасте человек. Живет в соседнем доме. Встречаемся, здороваемся, говорим о том о сем. Он меня сам как-то звал в Тимошино, да некогда было. Договорюсь с ним — сядем и поедем. На машине за день обернемся.

— Вот хорошо бы! — воодушевилась Варвара. — Но за день-то уж больно скоро. Ничего и не увидим, и не побудем как следует. Сночевкой бы надо, а не насскоком. Че мы насскоком-то, сам посуди? Надо по селу походить, соседей навестить, вспомнить... А если седни туда да седни же обратно — какой прок, так, галопом получится. Ты уж с сночевкой договаривайся.

— Делим шкуру неубитого медведя, — говорю я. — Может, Громов вообще не поедет — ни на день ни на два.

— А ты скажи, что я прошу. Поди, не забыл Сашка меня. Он, змей, по молодости-то прилипчивый был... — Варвара явно не закончила фразу.

— Ну-ну, продолжай, — весело подхватил я.

— Да так, — она махнула рукой. — Сашку я не любила.

— Вот это правильно! Не про болезни надо говорить, Варвара Александровна, а про любовь. Ты ведь холостая. Замуж можно...

— Я че, спятила, што ли? Скажешь тоже. Хочу в Тимошино, — со вздохом сказала она, грустно посмотрела на меня и чуть опустила голову, словно разом почувствовала, поняла: меж той, тимошинской, порой и теперешней — пропасть, что ничего не даст ей поездка в Тимошино, кроме острого до боли ощущения невозвратности прошедшей молодости. Но так уж устроен человек: хочется пройти по своим уже затерявшимся следам. Памятью своей пройти.

Варварина сумка оказалась настоящим кладом. Кроме продуктов, сестра извлекла оттуда несколько дорогих платьев и кофт. Это напугало мою жену — видать, Варвара пожаловала надолго, если такой большой гардероб с собой привезла. А сестра, развешивая платья, чтобы они обвисели, говорила:

— В молодости бы эту одежду. А счас она к чему? Перед кем выпендриваться? Не перед кем. Так только — себя потешить.

— Перед Сашкой Громовым можно, — пошутил я. — Тем более что между вами амур пролетал.

— Только что и пролетал, а не задержался, — ответствовала на мою шутку Варвара.

Потом они долго разговаривали с моей женой. Предметы — чисто женские: о продуктах, одежде, детях...

В Тимошино мы выехали субботним утром. Варвара встала с рассветом. В маленькой комнате, куда мы ее поместили, хрустел паркет, не успевала открываться и закрываться дверца шифоньера.

— Что она делает, чего ищет? — спросила меня жена, разбуженная, как и я, Варварой.

— Бог ее знает. Не спится, видать.

— Обязательно надо ходить. Можно лежать, если не спится.

— Может, разминается.

— А шифоньер-то почему то откроет, то закроет?

— Ну знаешь... Спроси чего полегче, — начал сердиться я.

— Вот заводной, — буркнула жена. И добавила: — В субботу и то не поспишь вволю. Ребятишек тоже, наверное, разбудила.

— Спят твои ребятишки без задних ног. Их пушкой не разбудишь.

И тут Варвара заглянула к нам и тихо позвала:

— Оля, если не спишь, пойдн ко мне. Очень надо.

— А?

— Хочу посоветоваться, — вполголоса говорила Варвара.

Жена нехотя поднялась. Они удалились. Из приглушенного разговора я понял, что Варвара затрудняется выбрать платье для поездки в Тимошино. Наверное, выбирает похуже, а выбрать не может, так как привезла с собой новые да дорогие. Усмехнувшись, попытался еще поспать, но тщетно.

Серое окно становилось светлее. Разом загомонили птицы, да так одухотворенно, что я невольно заслушался их несогласованным хором.

Заурчали ранние моторы, послышались людские шаги по асфальту, голоса. Брызнуло красным светом в окно.

Я решительно вскочил с постели и пошел умываться. И тут вышла из комнатухи Варвара. Я остолбенел. На ней было синее бархатное платье, на голове высилась прическа сложнейшей конструкции, губы ярко накрашены, в ушах серьги.

— Ты это чего? Куда это? — удивленно бормотал я.

— Ну как куда, чужак-человек? В Тимошино. Позабыл, что ли?

— Да нет... Но ты-то. Актриса да и только, — всего и нашелся сказать.

Варвара просияла. И я впервые обратил внимание, какие у нее глубокие черные глаза.

Ольга стояла неприбранная за спиной Варвары и делала мне знаки, чтобы я хвалил сестру.

А я спросил:

— Это ты с четырех часов наряжалась?

Варвара наигранно невинно ответила вопросом на вопрос:

— А вы не спали разве?

— Да нет, спали, — сказал я и добавил: — Хорошо смотришься, Варвара Александровна, но не по-дорожному. Может, лучше в оперу вечером двинем?

— Ну ладно смеяться. Че я поеду в Тимошино оборвашкой? Я ведь не бедная, могу одеться не хуже людей, а может, и лучше.

— Да мне что, — махнул я.

Сестре решительно хотелось видеть и меня в хорошей дорогой одежде. Она, когда я, умывшись, облачился в поношенные вельветовые штаны, дешевую куртку на молнии и парусиновые ботинки, с явным неудовольствием заметила:

— Как бедный студент. — Варвара была возбуждена и забыла, что находится в гостях, что со своим уставом в чужой дом не ходят.

Ольга предложила нам чаю с колбаской, но Варвара отказалась — она так рано теперь никогда не завтракает. Пока я пил чай, она с терпением поглядывала на свои наручные часики...

Громов стоял возле своих «Жигулей», курил, блестя лысиной на ярком ласковом утреннем солнышке.

— Облысел Санька-то, — сказала Варвара. — Видать, бабы довели.

Я покачал головой — ну дает сестра. И добавил с легким раздражением:

— Вы доведете.

Варвара никак на эту мою реплику не отозвалась. Громову она подала руку.

— Со свиданием, земляк, — сказала Варвара улыбаясь.

Громов тоже улыбался, рассматривал Варвару. Ее наряд, как и меня, смутил Громова. Надо было садиться и ехать, а он мялся.

— Мы это... в Тимошино, значит? — спросил он, глядя поочередно то на Варвару, то на меня. — Или... куда в другое место?

— В Тимошино, — подтвердил я.

— Ну тогда по коням. — Громов проворно нырнул в кабину. Я сел рядом, Варвара на дипломатическое место.

По городу ехали молча. Меня клонило ко сну. Громов был сосредоточен, Варвара не делала попыток заговорить с ним — понимала,

что человек за рулем. На меня она, похоже, обиделась за то, что я не внял ее совету и не оделся поприличнее. Варвара, видимо, собиралась дать по мозгам односельчанам: поглядите, мол, в каком достатке живет бывшая голь перекатная.

А как выехали за город, так и разговорились помаленьку. Варвара расспросила Громова про родственников его. Тот охотно рассказывал, время от времени ненадолго поворачивая голову к Варваре. Вообще Громов мне нравился: спокойный, обстоятельный мужик.

Про соседей заговорила с ним Варвара. Он ее разочаровал: большинство поумирало, многие поразъехались кто куда.

Сестру это обескуражило — она поняла, что не встретит тех, кого бы очень хотела повидать.

Примерно на половине дороги между городом и Тимошино Варвара попросила остановиться — не гоже голодными являться в село.

Справа и слева к шоссе подступал березняк. Мы нашли полянку, Варвара расстелила тряпицу, выложила на нее несколько кусков вареного мяса, хлеб, лук, огурцы.

Солнце поднялось уже высоко, грело хорошо, но и ветерок был, и нас обдуло волнами теплого воздуха, настоенного на запахах лесных цветов и трав.

— Благодать! — сказал Громов, вытянувшись на траве, пока Варвара резала огурцы, хлеб. — Не привычка, ни дня б в городе не остался. Духота, гарь, копоть...

— У тебя машина, — возразила Варвара. — В любое время сел и поехал, куда хочется. Я бы купила машину, да боюсь. Да и старая уже баранку крутить.

— Так ты богатая невеста? — пошутил Громов.

— Никакая я не невеста. А деньги есть. — Сказано это было с достоинством и с долей женского хвастовства.

Громов усмехнулся:

— С ними, с деньгами-то, столько бывает мороки.

— Да какая же с ними морока, — возразила Варвара.

— Думать надо, куда истратить. Или, наоборот, сдерживать себя, чтобы не тратить, копить. Жадность опять же развивается. Я иногда думаю: всю жизнь на тряпки да на жратву мантулил.

— Все так живут, — стала успокаивать Громова Варвара.

— Нет, наверно, не все. Есть люди, которые начихали на это.

— Деньги они и есть деньги. Без них никуда.

— Не агитируй, — попросил я Варвару. Она уловила легкое раздражение в моем голосе и миролюбиво сказала:

— Я не агитирую. Так оно и есть.

Ели молча. А когда снова двинулись, сестра вертела головой вправо-влево, пытаясь узнать места детства — родные наши места.

— Вот она, та гора! — воскликнула Варвара.

— Что за гора? — спросил я, оборачиваясь.

— Ну не гора — подъем от речки Грязнухи.

— Пересохла Грязнуха, — сказал Громов. — А какие в ней водились щуки и налимы. Как бревешки. Силком брали, острогой. В голодное время рыбкой нас Грязнуха подкармливала.

Проехали еще несколько верст. Дорога была сносная, машину качало. Справа и слева хлебные поля, среди них островки берез.

— Интересно, где сейчас Иван Колотвин? — осторожно спросила Варвара, адресуя свой вопрос Громову.

— Умер он, — отозвался Александр Матвеевич. — Лет пять тому назад. С легкими что-то приключилось.

— Да ты что? — воскликнула сестра.

— Умер Иван, — еще раз подтвердил Громов.

Помолчали.

— А ты помнишь, как он пел под гитару? Как артист настоящий.

— Че он на тебе-то не женился? — спросил вдруг Громов, обернувшись к Варваре. — Гуляли ведь вы с ним.

Я тоже повернулся к сестре.

Она опустила глаза.

— Гуляли, да не догуляли.

Тряхнуло. Громов сильнее вцепился в баранку. Я пошевелился, сел поудобнее и вдруг услышал, что Варвара поет, даже не поет, а речетативом проговаривает слова, стараясь соблюсти мотив:

Очи черные,
Очи жгучие,
Очи страстные
И прекрасные...

Я снова повернулся к ней. Варвара стушеввалась, смолкла.

— Так ты на свиданье ехала?

— Глупый, — сердито сказала Варвара.

А я подумал: наверно, не случайно Иван Колотвин пел под гитару «Очи черные». Вон какие глубокие и черные глаза у сестры. И вполне вероятно, что ехала Варвара в дорогом наряде к любимой песне своей молодости. Надеялась, быть может, встретить Ивана. И не встретила...

Скрипнула калитка

Проснулся я с тревожным ощущением: ночью кто-то входил во двор дачи. Я слышал скрип калитки и, кажется, просыпался.

Окна зашторены, в дачном домике ровный полумрак, время определить трудно. Наверное, часов семь-восемь.

Надо выпустить щенка, а заодно глянуть — на месте ли банные полотенца, повешенные с вечера на ставни сушиться.

Вскакиваю. Щенок на веранде у входной двери, как и должно собаке. Дремлет, положив голову на лапу. Едва я появился, он встрепнулся, аппетитно зевнул.

Я повернул ключ в замочной скважине, приоткрыл дверь. Гвидон тотчас выскользнул на крыльцо и ринулся к калитке. Он уже понимал, что нехорошо делать свои дела во дворе, был руган и шлепан за это. Да и роща манила. Она сверкала росой, дышала утренней прохладой.

Полотенца на месте. Калитка заперта. Но это не моя работа. Значит, жена, ложившаяся спать позже, заперла ее. Видимо, сквозь сон я слышал, как звякнул засовчик.

Толкнув воротца, песик побежал в посеребренную росой траву. И тут наступило просветление: я видел сон — свою деревню, наш дом. Мать открывает воротца, они скрипят. В них, задевая столбики боками, выходит наша корова и, оглашая улицу зычным мыком, направляется за деревню, в стадо. Мать некоторое время стоит у ворот, провожает взглядом нашу кормилицу, возвращается во двор. Лицо ее озабочено.

Гвидон подбежал ко мне, лизнул руку, глядя просительно, — аппетит у песика отменный. В конце концов он пожелал остаться на крыльце.

А я вернулся в домик, залез под одеяло, лежал бок о бок с сыном. Тепло от его тела. С вечера мы легли вместе, чтобы поговорить о разных разностях. Он и уснул со мной, набегавшись за день по роще с Гвидоном и мальчишками.

Я не удержался — приобнял его. Прилив нежного отцовского чувства едва не выжал слезу. Поцеловал сына в выгоревшие на солнце, почти обесцветившиеся волосы. А он спал, приоткрыв рот, и лицо его

было спокойным и безмятежным, чистым, как утро в березовой роще, под сенью которой стоял наш дачный домик.

Сна уже не было. Я хотел встать, но раздумал, опасаясь разбудить на сей раз своих: пусть поспят. Сын шевельнулся, дрогнули веки.

Я еще раз коснулся губами его волос, отодвинулся, подумал, что не будь он сонным, не позволил бы целовать себя. Уже не любит ласку — взрослеет. Я вздохнул. Полежал еще немного, поднялся осторожно, также осторожно вышел на веранду, сел к столу, глядел, как восшедшее солнце пытается пробиться сквозь березовую листву, отчего роща словно под мощным прожектором.

Посидел и понял, почему мне приснились детство, мать, наша деревня. Вечером я думал о матери, прикидывал, когда лучше съездить к ней на могилу, постоять у оградки, положить цветы к памятнику. Отпуск только начался, и надо ехать в ближайшие дни, пока не завяз по уши в дачных заботах и делах: прополке участка, переборке подгнившего крыльца и прочих неотложных хлопотах.

Вчера, думая о матери, устыдился: не был у нее уже два года. И мне почему-то с особой, резанувшей душу, отчетливостью вспомнились две недели зимних студенческих каникул, когда я видел ее в последний раз.

Помню: легко дошагал с вокзала до нашего дома. Хорошо на душе оттого, что позади еще одна сессия, что меня ждут встречи со старыми школьными друзьями. Можно будет ложиться поздно, вставать тоже, ходить на каток — одним словом, жить не по расписанию, а так, как душе угодно. Не тяжел мой студенческий чемодан, быстр мой молодой шаг. Скрипит под ногами сухой снег, вылетает изо рта парок. И в самую, наверное, последнюю очередь подумалось: мать ждет, слушает шаги на лестнице. В квартире все прибрано, вымыто, все на своих привычных местах. На кухонном столе в блюде гора печенья, наготовленного матерью к моему приезду.

Так оно и было. На мой звонок тотчас отозвались шаги в передней, и дверь широко распахнулась. Мать улыбалась, и слезы навернулись на ее глаза. Она прижалась ко мне, посмотрела в лицо и стала снимать с меня шарф, говоря при этом:

— Раздевайся, вешай пальто. Озяб, поди? Ничего — нынче топят хорошо. Я прямо не нарадуюсь. Теплота в квартире. — Она, пока я раздевался, топталась рядом, потом взяла мой чемодан и унесла в комнату, тут же возвратилась. Оставленные мною почти на середине коридора ботинки поставила к стенке, осмотрев предварительно не дырявые ли, есть ли внутри мех.

Чисто в прихожей, в двух комнатах, кухне. Везде чисто. Пахнет щами, печеньем. Мне кажется: так пахнет в квартире с той самой поры, когда мы с матерью, продав за бесценок грозивший завалиться деревенский дом, приехали в город к старшему брату.

На окнах накрахмаленные вышитые задержушки, через большую комнату проложена цветная домотканая дорожка — единственное, что напоминает нам деревню, родной деревенский дом.

Старший брат — холостяк — лечит в санатории расшалившуюся печень. Мать без него наскучалась, потому вся сияет, прямо помолодела.

Я помылся с дороги, а мать собрала обед. Сама она, что называется, поклевала, как птичка. Сидела и смотрела на меня. Возбуждение, вызванное моим приездом, улеглось в ней постепенно. Я видел: болеет мать. Дышит трудно, сидеть ей тяжело.

— Болеешь? — спрашиваю.

Она моргает, сдерживая слезы, но сдержать их трудно. Улыбается сквозь слезы и говорит, что плачет от радости. Вздыхает и тут же признается:

— Болею, сынок. Все болит. Ходить тяжело — задыхаюсь. Врачи

астму не признают. Один ревматизм и ставят. А про ревматизм я и без них знаю: ноги к непогоде ноют — спасу нет. Старость... — Она снова вздыхает и, коротко глянув на меня, опускает голову и продолжает:

— Неутешное что-то во мне болит. Даже не хворость это, а в душе, внутри что-то не на месте. Смерть душа чувствует. А как помирить-то? На кого я вас оставляю? Кабы на отца, дак его с каких времен нету. Вас мне переживать негоже, а оставлять одних тоже страшно. Как вы без меня-то будете? Письма друг дружке редко пишете. Я вас и соединяю-то. А не станет меня, перезабудете, кто где живет, когда рожден, как зовут. Мне ж не будет там покоя.

— Где там, мама? Где? — с улыбкой спрашиваю.

Она машет рукой:

— Может, там и ничего нету. Да нет там ничего, на том свете-то. Нет его самого. Люди напридумывали, надежду себе оставили, зацепку. Я ведь понимаю — не глупая. А все равно душа болеть будет. Я вас растила. Жила этим. Все у меня здесь, на земле. А главное — вы, детки мои, горемычные, ты — безотцовщина, считай. Сам-от перед смертью подержал тебя на руках, наказал мне: береги, это тебе до смерти радость и забота. А как же... В жизни все едино — радость и печаль. Вот я и радуюсь, что ты вырос, учишься — значит, при деле будешь, не шалопаем растешь. А печалюсь... — Она провела рукой по клеенке, которой был накрыт небольшой кухонный стол. — Мать не может без тревоги и печали. Не хворает ли? Не голодуешь ли? Может, не дай бог, к вину пристрастился. Может, с дурной компанией связался? Мыслей у матери о детях, как семечек в подсолнухе. Да будь дите самое что ни на есть распрекрасное, а матери все равно тревожно. И должно быть тревожно. Она, материна-то тревога, передается дитю, доходит до него. Укорот себе в дурном дает через эту тревогу ребенка. Если что плохое задумал или совершает, помнит и знает, что матери рану наносит, ее лишает сна, радости, старит ее прежде времени. Иные чувствуют, а иные... Иным хоть кол на голове теши. Загоняют родителей в могилу своими художествами. Мы вон с Авдотьей Миколашиной пишем друг дружке. Ее-то письма — одни слезы горючие. А кто ее довел до них! Гришка. Помнишь Гришку-то?

— Помню.

— Ну так ведь он мать-то свою, считай, угробил. Он же пьет, дерется. Счас в колонии — в тюрьме значит. Авдотья пишет, что нахудожничал Гришка столько, что на десятерых бы хватило. Я вот представлю, как ей тяжело, и молю бога, чтобы с вами с кем такого не приключилось. Это мне тогда в петлю легче.

— У нас, мама, все вроде спокойные, в тебя.

— Спокойные, — довольно соглашается она. — Да и в отца тоже. Отец-то ласковый был. Откуда едет — вам гостинцев, это уж обязательно. Хоть чего-нибудь, хоть малость, а про вас не забудет. Любил он вас всех. Рано, ох, как рано помер! Не в тех порой смерть метит. Неразборчивая она, слепая. А вон у нас был Лужин — пьянчуга и охальник. До семидесяти пил и охальничал, детей не растил, а так около жизни был. А смерть его стороной обходила, прости меня, грешную. — Мать спохватилась. — Чего это я разговорилась-разболталась? Да и то правда — наскучалась, как Митя в санаторий уехал. Иной раз хочу к соседке пойти, а как увижу какую мелкую работу в доме — негоже на после оставлять, принимаюсь делать, а там, гляди, еще что зацепится, потребует рук. Так и суетюсь, пока не умаюсь.

— Какая уж такая в городе работа? Отдыхала бы больше, — говорю я.

— Не скажи. Пыль с завода летит? Летит. Пуговицы на Митиной одежде отрываются? Отрываются. Носки ему теплые надо связать? Надо. Тебе тоже. Да и по кухне делов немало. За продуктами в магазин сползать — тоже время нужно. Я ходок-то плохой теперь. Когда

сюда приехала, без отдыха в квартиру подымалась. А счас две передышки делаю. Сердце готово из груди выскочить. Старость...

И заметив, что я перешел к чаю, посоветовала:

— Сливки в чай подлей. — И уже пыталась встать, чтобы идти за магазинными сливками к холодильнику. Я ее опередил, достал сливки, немного добавил в стакан с чаем.

— От хорошо, — говорит мать. — Я люблю со сливками.

За окном пуржило. И хотя ситцевые занавески раздернуты, сумеречно в кухне. Время от времени ветер швырял в стекла сухой снег, и он с шорохом осыпался вниз.

— Дообедывай, — говорит мать, — а я пойду в магазин за камбалой. Нажарим на ужин.

— Давай я схожу, — предлагаю матери свои услуги.

— Нет, мне надо хоть недалеко, а ходить. Да и ты стоять в очереди не вытерпишь. Я уж сама.

— Вот те на! — удивляюсь я. — Болееешь, а собралась стоять в очереди.

— Умный, а не понимаешь — мне теперь на люди надо. С бабами поговорить, похвастать, что ты на каникулы приехал, сдал экзамены на одни пятерки и четверки. Без троек, значит? — еще раз уточняет она. Смотрит, боясь, что я ее вдруг разочарую.

— Без троек. Могу зачетку показать.

— Ну дай погляжу. Я тебе верю, а поглядеть не помешает. — Я принес зачетку, а мать тем временем нацепила очки. Листала зачетку медленно. — Грамотные всегда пишут как курица лапой — не разберешь. Что врачи, что ваши учителя.

— Преподаватели, — поправляю я.

— Ну все равно учителя. — И тут она делится деревенской новостью, почерпнутой из письма Авдотьи Миколашиной: — Твоя-то первая учительница Лизавета Михаловна померла. Славная была женщина. Добрущая. Какое у нее было терпение, чтобы с вами всю жизнь учебой заниматься. — Мать закрыла зачетку. — Помнишь ли, как стоял перед Лизаветой Михаловной голозадый? Ты не то четвертый кончил, не то пятый — не помню в точности. А было: встренулись с ней на улице. На тебе единственные трусишки — дыры на ягодицах. Лизавета Михаловна сказывала: ты стоишь перед ней и голые места руками прикрываешь. А распрощались — ты задом от нее, задом, руки на голом-то держишь и как драпанул... Ох, бедность была! Я тогда к Авдотье сходила, выпросила займы кусок сатина, сшила новые тебе трусы-то... Померла Лизавета Михаловна. В школе-то она тебя всегда в пример ставила. Да и Митю. Говорила: вот Малаевы — живут бедней бедного, а учатся куда с добром. Я замечала: кто не в богатстве — к учебе тянулся изо всех сил. А из богатых шалопаев немало навыврасало. Почему так? Ну я пошла, а ты полежи, поспи или читай, если хочешь. А лучше поспи, дай глазам отдохнуть.

Вечером обнаружила мать в томике стихов Ахматовой фотографию Риммы — девушки с третьего курса. Краешек фото высунулся из книги, и мать полюбопытствовала. Риммино лицо ей понравилось, но она все же отчего-то вздохнула, покачала головой.

— С норовом деушка-то? — спросила она.

Я ответил вопросом на вопрос.

— Я и говорю — с норовом. Губки тонкие, капризные. — И она замолчала.

Я понял ее чувства: женится младший — и как отрезанный лоскут. А у нее этих отрезанных лоскутов целых шесть.

Мать бережно вложила фотографию обратно в книгу и заходила по квартире. Поправила скатерть на столе, салфетку на приемнике «Октябрь», хотя все было в порядке.

Понимая ее состояние, я, лежа на диване с книгой, сказал:

— Мам, я же не думаю жениться. Не сердись, не дуйся.

— Больно мне надо дуться. Я о своем думаю. Да вот заодно и поправляю. А жениться или нет — твоя забота. Мое-то какое дело?

— Мам, ты не умеешь кривить, — смеюсь я, садясь на диване и откладывая книгу. — Вижу, что сердишься.

— Я-то не умею? Я те кого хошь объегорю. — Она садится рядом со мной. — Объегорить мне дважды два. Сказывала, нет, как печать и книги прятала от беляков в гражданскую?

— Не помню, кажется, нет.

Помнил — рассказывала. Но пусть расскажет еще раз. Пусть вспомнит свое сокровенное, отвлечется от болезней, забот, переживаний.

— Времечко было — не приведи господь. Брат на брата шел, сын на отца. Твой-то отец председателем сельсовета был. Избрали — ничего не поделаешь. Я отговаривала, а он, добрая душа, отказаться не смог, неудобно, мол, раз люди выбрали. Ну, печать у него, книжки политические. А село-то наше, помнишь ведь, в яме. Хорошо было видать любого пешего и верхового. Как беляки к селу — мы в лес. А тут посмотрели. Глядь, а они уже вот они, близко пылят, шашки сверкают. Нечистая сила! Я за печать. Сам-то наказывал беречь, никому чтобы. В отъезде он был как раз. А куда ее, печать-то? Как сберечь, если они рядом? Печать за иконой лежала в тряпице. Ну, я ее отудова хватя — и заметалась как угорелая. Вылетела в сенцы, а в сенцах чугунок с потухшими углями. В угли ее, туда. В середку самую. Угли-то черные, да и она не белая. Ручкой вниз, а что на бумагу кладут — тем вверх. Пускай поищут! Теперь книжки. А уже топот лошадиный. Хоть бы в погреб успеть бросить. Сгребла стопку, вылетела во двор. До погреба далеко, он у бани был копан. Не успеть, они уже в улицу въехали. Кадка сохнет посередине двора. Я книги бух рядом, кадкой накрыла, как будто так и надо. А их понаехало! С лошадьми во двор да сразу — где председатель? Утром, мол, уехал по делам, а когда вернется, знать не знаю, может, где заночует, он мне не докладывал. Дом весь вверх дном перевернули, сарай обыскали, баню, погреб. Не нашли отца. Где печать? Он мне не сказывал. С собой, должно, взял. Я это дурочкой представляюсь. А лошади брыкаются, их овод донимает. Кадушку того гляди перевернут. Я ни жива ни мертва. Не надо было книжки-то прятать. Их увидят, поймут, что и печать спрятана, не отвяжутся, пытать начнут. С жизнью прощаюсь, с детками прощаюсь. Но обошлось. Объегорила все же их. Поматюгались, покрутились, погрозились да и ускакали. Печать-то они, сердешные, долго искали, а она в чугунке. Сколь раз они его туда-сюда ногами двигали, а ума не хватило угли-то перебрать. А че он им — чугунок и чугунок, стоит себе и уголья в ем потухшие...

Каникулы пролетели как один краткий миг. Мать и видела-то меня дома в общей сложности день-два. Я больше пропадал у школьных друзей, тренировался на катке — была цель получить разряд по конькобежному спорту. Благо, погода установилась солнечная. Мороз держался умеренный, и бегать на коньках доставляло удовольствие.

Накануне отъезда начал подсобираться.

— Вот как дни-то быстро летят! Чисто ласточки, — говорила мать, сильно опечаленная тем, что мои каникулы кончились, что ей снова предстоит разлука со мной. Она на десять раз проверила — не забыл ли я чего положить в чемодан. Настряпала шанег в дорогу, наварила яиц вкрутую. Часто смотрела на меня, и я ощущал боль в ее взгляде.

— Жениться вздумаешь, дак напиши, втихаря-то от матери, братьев да сестер не женись. Матерь-то свою почаще вспоминай. А то ведь счас укачишь, а письмо пришлешь через полгода, вот и гадай все это время, жив ли ты да что с тобой там.

Я пообещал клятвенно, что письмо напишу сразу как приеду в институт.

Присели перед дорогой, немного помолчали.

Мать в валенках, теплой кофте: понятно — собралась провожать, что называется, до самого следа, то есть решила посадить меня в вагон. Я начал уговаривать ее остаться дома, зря ноги не бить, отдыхать.

— Не развалюсь, коли провожу, — возразила она. — А стыдишься со мной старухой рядом идти, так и скажи — останусь.

— Мам! — укоризненно посмотрел на нее.

— Ну тогда потерпи. — С моей помощью она надела пальто, повязалась коричневой пуховой шалью, которая ее немного молодила, потому что закрывала седые волосы, глубокие морщины на лбу.

Утренний морозец стеснил дыхание. Заскрипел громко и свежо вымороженный снег под ногами.

Я старался не спешить, чтобы не уморить мать быстрой ходьбой, а про себя решил, что дальше автобусной остановки не позволю провожать. Попрощаюсь и отправлю домой.

— Носки шерстяные тебе связала, в чемодан положила на самое дно. Носи, когда морозно, не студи ноги-то.

— Зачем они мне?

— Сгодятся.

— Еще чего положила?

— Не бойся — лишнего ничего. Платков носовых положила. Тетрадок общих.

— Ну, мам! У меня что, не на чем писать?

— А хоть и есть. Запас карман не тянет. Я так смекаю. В вагоне-то поешь, голодом себя не мори. В детстве досыта наголодался. — С этими словами она достала из пальто довольно потрепанный кошелек, открыла его и протянула мне двадцатипятирублевую.

— Не надо, — начал отказываться я. — Ты же мне дала тридцать. Купи лучше себе на платье, а то ходишь в старом, застиранном. Я приеду как раз к стипендии.

— А она у тебя велика, стипендия-то?

Пришли на остановку.

— Ты бы шла домой, — негромко попросил я. — Уеду — не маленький.

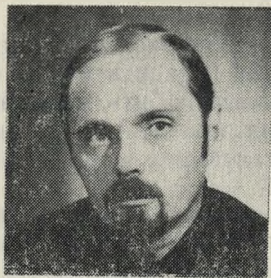
— Опять про то же, — недовольно сказала она, сгорбившись чуть. — Автобус-то мигом домчит нас до вокзала.

— Да зачем тебе на вокзал? Иди домой, отдыхай. Иди, мам. — Я взял ее руку в мягкой вязаной варежке и тихонько потянул с остановки. Она не сопротивлялась, только глухо, с какой-то незнакомой мне отрешенностью сказала:

— Чует сердце — в последний раз видимся, сынок. — И, притянув меня к себе, поцеловала, глаза ее тотчас увлажнились. Повернувшись, пошла домой, но тут же оглянулась и, постояв несколько секунд лицом ко мне, снова двинулась...

Умерла она, когда я сдавал летнюю экзаменационную сессию. Получив телеграмму о смерти матери, я вспомнил нашу недалнюю дорогу от дома до автобусной остановки. Устыдился я... И не только стыд жег душу. Как я хотел, чтобы тот день моего отъезда с зимних каникул повторился. Я бы прошел с матерью под руку до вокзала, я бы поцеловал ее на прощанье, погладил бы ее волосы, в которых не одна седая прядь появилась от бесконечных материнских тревог за меня. Я бы...

Но ничто не повторяется.



Капустин Борис Васильевич родился в 1948 году в Ростове-на-Дону. Работает корреспондентом в газете «Моторостроитель». Печатался в краевых газетах, альманахе «Алтай», коллективных сборниках. Живет в Барнауле.

Борис КАПУСТИН

„НАУЧИСЬ КОРМИТЬ СНЕГИРЕЙ“

* * *

Снова грянул снег
в первый раз,
и душа болит о былом.

Начинай дышать про запас
с неба выпавшим серебром.
Начинай глядеть в декабри,
примерять тоску

декабрей.

Начинай вставать
, до зари,
научись кормить
снегирей.

МЕДВЕЖИЙ ПОВОДЫРЬ, ИЛИ ЖИЗНЬ АРТИСТА

монолог купца

«Не цыган-конокрад,
не другой азиат.
Рожа в рыжих веснушках,
мерлушковый взгляд.

И не то чтоб урод,
даже наоборот:
глянь, как девки глядят!
Девки — дошлый народ.

И не то чтоб дурак,
а скорей, просто так,
эдак, черт ему брат,
придуряться мастак:

как загнет, как зальет,
как рацею завьет —
аж зверюга ревет
и затылов скребет!

Все на месте — чего ж
по базару бредешь,
вызываешь галдеж,
а не сеешь, не жнешь!

Не куешь, не корпишь,
с молодухой не спишь,
барахло не копишь,
а гордишься, что шиш!!

У меня-то — жена,
у меня-то — казна,
и тесовая крыша
отсюда видна!

Я сурьезней на вид,
и цепочка блестит,
отчего же народ
на меня не глядит!

А курносая тварь,
перекатная голь,
что куражится — царь!
Балаганит — король!»

И кулак
по дурной
скоморошьей
башке.

И свинец отливной
в том
крутом
кулаке.

...Забияку — в подвал.
Зверя — в добрую клеть.
Эй, сбирайся, братва,
на кровящую глазеть!

ЧААДАЕВ

Петр Яковлевич хандрят.
Соизволили быть небритым.
Ах, не греет старый халат.
Опротивело все. Обрыдло.

За окном непонятный свет.
Жестяная тоска природы.
Может, листья, а может, снег
полосою бежит неровной.

Ах, как скучно-то, господа,
в положении арестанта
при наличии — ерунда! —
ослепительного таланта.

Ах, как грустно-то, господа,
в некий час невзначай проснуться
в положении — ерунда! —
государственного безумца.

Обложили. Выхода нет.
Бросить к черту! В бега податься,
разумея добрый совет
милосердного государства.

Здесь все ясно. Конец один.
От пустых очей не сокрыться.
Сумасшедший! Но — гражданин.
Арестант! Не беглец, не крыса.

Значит, медленно умирать.
Без надежды. Помимо воли.
Ах, свечу бы подать пора.
Надо кликнуть кого-то, что ли!

За окном койи час подряд
ураган ледяного ветра.
Петр Яковлевич хандрят.
Принесите скорее света!

СОН ПЕСТЕЛЯ

В тараканьем каземате,
в холодном и пустом халате
спит заключенный Пестель Павел,
что супротив властей направил
своей души крамольный пыл.
За что награду получил.

И снится сон ему. Весна
и ослепительные вишни.

Они вдвоем из дому вышли,
и им дорога суждена
такая дальняя, что нет
надежды в старый дом вернуться.

Необходимо оглянуться,
проститься с ним.
Да мочи нет.

А что до спутника, то он
неясен, неопределен.

То это женщина с печальной
улыбкой. То его двойник.
То образ вовсе нереальный.
То лучший друг. То клеветник.

А может, это и Свобода
та самая, в конце концов.
Но вот скопление народа.
И государево лицо.

И черная толпа трепещет,
и государь кричит: «Вампир!»
И кровь из белой шеи хлещет
на белый с золотом мундир.

Он видит в ужасе и муке,
у самой бездны на краю —
бьют окровавленные руки
всю государеву семью.

И он кричит: «Нельзя, не смейте!»
Но эта черная толпа,
почувя медный привкус смерти,
кровавой слепотой слепа.

Да, в тараканьем каземате,
в холодном и сыром халате,
в шуршащей тараканьей мгле —
последний сон на сей земле.

ВЕТЕР. ВЕРЕСК. БЕРЕЗНЯК

Отболело. Отоснилась
заповедная трава.
Ах, куда ты покатишься,
золотая голова!

К верстаку суровый мастер
не зовет (и не впервой).
От безделья, от напасти,
от невыплаканной страсти
загулял мастеровой.

Деньги! Слава! Побрякушки —
разноцветные слова! —
если на прицельной мушке
золотая голова,
золотая, не простая,
только малость испитая,
три желанья за тобой.

...Ветер. Вереск. Пыль седая
вдоль дороги столбовой.
Ветер. Вереск. Пыль седая.
На отшибе березняк.

Выбирай, не прогадаешь,
все равно ведь пропадешь —
каждый знает, друг ли, враг,
только ты один не знаешь
[промолчи, не прекословь].

Нету выбора. Любовь.
Нету выбора. Россия.
Ветер. Вереск. Березняк.
Пыль. Раскаты грозные —
все по праву. Друг ли, враг
не отнимет. Не остудит
смерть, могильная трава.

...А Россия не осудит,
золотая голова.
Золотая, не простая.
В тишине вечерней тая,
чистый дождичек идет,
с горьким вздохом отлетая.
Только мама и всплакнет.

...Слышишь, как же так случилось?
Напророчила молва!
Ах, куда ты покатилась,
золотая голова!

ПЕСЕНКА О КУЗНЕЧИКАХ

Вы, кузнечики, молодчики мои,
мастера мои артельные!
Налетели, налетели соловьи,
птицы серые, бездельные.

Как на зорюшке засвищут, загудут,
запоют, закувыркаются:
истерзают ваши души, украдут
до поры, когда смеркается,

А запрятавшись за той за порой,
непроглядной тихой ночью
воровать затеют ваше добро —
наковальни с молоточками.

Им-то петь да в наковаленки стучать —
вдвое больше удовольствия.
За безделье свое станут получать
вдвое больше продовольствия.

А для вас без кузниц — что за житье!
Вам без них — и делать нечего!
...Так не вздумайте вы слушать соловьев,
мастера мои, кузнечики!

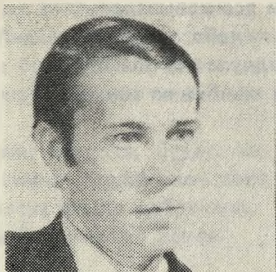
* * *

Соседа сделаю героем
и дам фамилию — Иванов.

Он целый день сидит в квартире
и вышивает по канве.
О нет, не пышные букеты,
не кошечек, и не щенков —
вождей и маршалов портреты
из пожелтевших «Огоньков».

Читатель может удивиться.
Я предъявить ему готов
разбитые на клетки лица
с обозначением цветов:
они у мамы четверть века
в альбоме плюшевом лежат
среди фотокарточек заветных
убитых и живых солдат.

Степан Петрович вышивает
на пальцах умершей жены
и, чуть фальшивя, напевает
про быстрокрылые челны,
про коногона и тальянку.
А коли на сердце беда,
тогда бессмертную «Тачанку».
«Землянку»... Что ж еще тогда!



Володин Геннадий Григорьевич родился в 1936 году в Барнауле. Окончил топографический техникум, служил в Советской Армии, работал в районных, городских газетах и «Молодежи Алтая». Автор поэтических книг «Я иду по тайге», «Гудки», «Росынька», нескольких книжек для детей, а также переводов с алтайского, немецкого и тувинского языков. Живет в Новоалтайске.

Геннадий ВОЛОДИН

„...ПОНЯТЬ ЯЗЫК СВОЕЙ ДУШИ“

СУТЬ

Утверждают,
Что бесповоротно,
От неясных причин одряхлев,
Исчезает два вида животных
Ежегодно
У нас на Земле.

Покидают житейские кущи...
И пугает такое меня:
Неужели не станет в грядущем
Соловья,
муравья
иль коня?

Мотылька,
Что умеет питаться
На лету!
Иль исчезнет паук!
Ну так сделайте что-нибудь,
Братцы,
Доктора всевозможных наук!

Но они заявляют беспечно:
Всем и каждому выпал свой путь,
Жизнь — лишь миг,
Но она бесконечна.
В этом вся первородная суть...

Но ведь людям близка в настоящем
Даже самая малая тварь.
...Убеждаюсь все чаще и чаще:
Ни-ка-кой
я в природе не царь.

* * *

Набежала на берег покатым волна,
Зелена, как трава,
как роса, холодна,

И отпрянула тут же,
в простор унося
Невесомый дощаник мой,
словно гуся.
Я за весла берусь и плыву по Оби,
Заклиная струю:
«Ты меня полюби!
Не лаской как иных —
я не выбьюсь из сил.
Лишь на мели, пожалуйста, не выноси.
Пусть не очень искусен,
но все же пловец
И пытаюсь измерить глубины сердец.
Не по силам задачу, быть может, беру,
Но вовек ни тебе, ни себе не совру.
Я за то, чтобы истину —
вынь да положь:
Лучше горькая правда, чем сладкая
ложь...»

А река ни полслова.
Лишь шелест волны.
Как узнать, как постичь немоту
глубины!

Может, с этим вопросом
прилип как лишай!
Только слышится, слышится:
«Сам не плошай...»

* * *

Таёт снег. Ручьи змеятся.
Бьет капель из-под застрех.
В эту пору петь, смеяться
Беспричинно тянет всех.

Оттого ль, что солнце плавит
Разомлевший лед в реке!
Оттого ль, что птицы славят
Утро в сизом ивняке!

Виталий СТЕПАНОВ

ЛЕТО В НИЖНЕ-ОЗЕРНОМ

ИЗ ЗАПИСОК ПУБЛИЦИСТА

Моя изба стоит на широченной улице, ее можно даже проспектом назвать. По обе стороны дороги заросшее мелкой травкой пространство, целый день тут пасутся телята, и бродят стаи гусей. По вечерам и я выхожу погулять по этой луговине.

Если лицом к своей избе стану, то справа моими соседями будут Капишниковы: тощий, согнутый в пояснице Семен Артемович, жена его Анна Павловна, громкоголосая полная женщина в очках, а также сын их — кудрявый крепыш Витька. Я был убежден, что это их единственное дитя, потому они и надыхаться не могут на своего Витеньку, только и разговору о нем, но вскоре выяснилось, что он у них последний, самый молодой, а трех дочерей они уже выдали замуж, и те народили им кучу внуков. Дом у Капишниковых белый с красивыми наличниками и голубым карнизом, высокой крышей. Дом литой, из шлака, утопает в зелени.

А по левую руку, на порядочном расстоянии от меня, метрах в пятидесяти, ближайшая почерневшая избенка принадлежит Марии Егоровне Апасовой, вдове. Муж ее скончался во время застолья, которое он очень уважал. У нее на руках осталось пять малолетних ребятишек. Всех она поставила на ноги сама. Последние двое — близнецы Витя и Валя — кончили в это лето среднюю школу в Коробейникове. Мария Егоровна, как я вижу, в постоянной работе: то полет, то поливает огород, гонит на луг гусей, встречает корову и быка, потом идет с коромыслом по воду, копается во дворе. В глазах у нее редко мелькает и тотчас же исчезает улыбка, всегда чувствуется во взгляде ее забота и какое-то испуганное ожидание, боязнь, что жизнь ее не оставит в покое, а преподнесет какую-нибудь очередную неприятность.

На второй день моей жизни в Нижне-Озерном тащился я из центра по полуденному пеклу и никак не мог найти на лугу переход через Озернуху, которая почти пересохла. Нагнавший меня высокий мальчишка, чуть сутулый, с прямыми светлыми волосами, показал, где брошена доска, сразу незаметная в траве. Остаток дороги мы шли рядом. Он поглядывал на меня синими глазами и широко улыбался. Очень знакомая физиономия, на кого же он так похож, где видел я его? Он подсказывает, я хлопаю себя ладонью по лбу, досадуя, что не вспомнил сам, а мальчишка, довольный, хохочет. Брата его, Володю Апасова, конечно же, прекрасно знаю, он механик на центральной усадьбе, дома у него бывал, он отличный работник и человек.

Витек заходит ко мне почти каждый день, он остался работать в совхозе, от него я узнаю новости здешней жизни. Спросил и про стог оставшегося с прошлого года сена: сами накосили столько, что образовался переходящий остаток? Витя отвечал утвердительно. Вечером он с приятелем зашел за мной показать, где надо купаться. Оказывается, я не дошел третьего дня метров сто до замечательного места на Истоке, где можно купаться и детям, и взрослым. Красота там какая! Ни

о чем подобном на центральной усадьбе и мечтать нельзя. Витька Апасов играл с мальчишкой поменьше в догоняшки. Они ныряли, стараясь показаться в самом неожиданном для соперника месте, резвились, как дельфины, и было ощущение, что в воде они гораздо лучше себя чувствуют, привычнее им там, чем на суше. Их облупленные носы внезапно возникали из воды.

С Романычем, парторгом, отправились на центральную усадьбу посмотреть, как мечут сено. Звеньевой — Толик Скворцов. Стога стоят аккуратные, четырехгранные, хорошо завершенные. «Не стога, а свечки!» — хвалится с искренним восхищением и гордостью Рындин, управляющий. И качеством сена доволен: «Не сено — чай!»

Несмотря на засуху, трава уродилась хорошо по нынешнему году — считают, что с гектара получается двадцать центнеров сена. Обычно в последние годы выходило по десять-двенадцать.

Толик, говорят, почти не вылезает из трактора, на который навешен стогомет. В прежние годы славился своим мастерством механизатор Федор Старыгин. Слава эта сделала его капризным человеком, говорить с ним трудно: прежде чем согласится сесть за трактор, выставит всяких приемлемых и неприемлемых условий. Теперь выяснилось, что в сравнении с Толиком Скворцовым он просто ремесленник.

Скворцов — высокий парень, чуть сутулый, с тонкими чертами лица, слегка вздернутым носом и умными смешливыми глазами, в которых всегда светится доброжелательность.

На желтой гриве густо стоят — неожиданные для этого года — красивые большие стога. Три комбайна с огромными телегами-накопителями ползают по желтой стерне и собирают скошенную валками траву. Ее свозят к месту, где будет вершиться стог. Тут орудует Толик на синем колесном тракторе с навешенным на него стогометом. На его работу приятно смотреть: как он принаравливается подцепить копну повесомее, потом поднимает ее вверх, на стог, осторожно, потому что там стоит мужик-стогоправ с вилами, наконец сталкивает с рогов копну, точнее сдвигает на вершину, и тут стогоправ вступает в работу. А тем временем, вертясь вокруг стога, Толик очесывает его, собирает лишнее сено, формирует из него копешку и снова отправляет ее наверх.

— Весь день не слазит с трактора... Задница мокрая у него к вечеру, — замечает управляющий.

Нужен был второй стогомет, на одного многовато приходится на грузки, но второго нет.

Видя, что приехало начальство, стали постепенно к нам съезжаться механизаторы. Подползли на своих комбайнах с громадными телегами-коробками Николай Попов, розовощекий парень, и Мишка Баркалов. Прошлой осенью он уехал из совхоза, женился на молодой женщине, она — бухгалтер, места для нее на центральной усадьбе не было, и вот увезла она Мишку, хорошего механизатора и человека. Он спокойный, покладистый, очень надежный в работе. Было за ним, конечно, что подвыпьет, но тогда он совсем безвредным становится.

Прощаясь с ним по-хорошему, директор пригласил его осенью:

— К весне чтоб здесь был, понял?

— Понял, — смущенно отвечал Мишка.

И вот теперь явился с женой в родной для него «Краснодарский», для жены как раз место освободилось на отделении, дали ему большую квартиру из трех комнат — на двоих, меньшей не было.

— Какие наши годы, заведем еще ребятшек, — улыбнулся Мишка.

Он остановил свой комбайн метрах в двадцати от нас, слез неторопливо и двинулся к нам. Я стоял к нему ближе всех остальных — Романыча и Рындина, и Миша знал, что протяну ему, конечно, руку —

блудному сыну, вернувшемуся в родной совхоз. На лице его светилась смущенная улыбка, он смотрел под ноги, нагнулся, выхватил из травяного валка клок сена, вроде бы посмотреть, что оно собой представляет, а на самом деле он помял этот клок для того, чтоб вытереть грязную от масла, земли и пота руку. Но сделать с ней так и не смог ничего, протягивая мне руку, он показал, извиняясь, ладонь — видите, мол, — подставил для покотия запястье. Темные глаза его сияли радостью, что пришлось нам тут снова встретиться, а я вспомнил комсомольский воскресник 1977 года. Летом тогда решили привести хоть немного в порядок клуб, и я поспорил с комсоргом, что нынешняя молодежь нисколько не хуже той, что была тут в начале целины, а сам волновался страшно: вдруг не явится никто? Тогда тоже, как и теперь, покос шел, кончали работу в девятом часу, а начали трудиться у клуба в семь. Не было Мишки, не было и Толика, ответственного за бетонирование площадки у входа. Неужели не придут, неужели они посмеялись надо мной, неужели я такой уж непроходимый дурак, что ничегошеньки не понимаю в человеческих глазах — глаза и того, и другого показались мне такими ясными и честными. И девять часов было, а они все не появлялись. Только в четверть десятого показались оба, уставшие после долгого-долгого дня в поле. Черные хозяйственные сумки, с какими механизаторы обычно отправляются на работу, будто по земле волочились, выдохлись за день парни! Но тут же оба взялись за дело. Толика, правда, тогда я оставил от работы на бетоне, потому что рука у него после аварии на мотоцикле работала плохо, плечо не зажило. Бог с ней, с работой, без него обойдемся, самое главное — пришли они с Мишкой, явились на посрамление комсоргу.

Это — давнес, а сегодняшнее вот что было: ребята старались, укос хороший, появился азарт, заработок вроде бы на второй план отошел, родилась радость от работы, от товарищества, приподнятость, что не только для себя каждый.

В одиннадцатом часу вечера пошел искупаться. Вижу, с мокрой кудрявой башкой сосед Витька Капишников приехал с реки на мотоцикле, а за мной не заехал. Может, опять душ пять с ним ехало мальчишек, как в прошлый раз. На повороте к ближней рощице шел мимо ухоженного огорода, на котором две женщины поливали помидоры.

Поколебавшись, я обратился к ним:

— Вы, наверное, особое слово знаете, потому и отличный такой у вас огород, не то что у меня. У меня всю землю видно, а у вас земли не видать.

— Вы — Степанов? — спросила одна из женщин. — Вам позднее всех огород сажали, потому он и хуже.

Разговорились. Одна работала дояркой, а в войну и после нее одиннадцать лет на тракторе и комбайне. Десять лет назад, выйдя замуж, уехала в Пристань, теперь вернулась и купила половину довольно большого дома, отдала за него четыреста пятьдесят рублей, а свою хибару в Пристани продала за две с половиной тысячи. Огород не весь засажен, половина его заросла бурьяном, он едва не в человеческий рост.

Я стал расспрашивать, отчего не все засажено. Может, сельсовет не разрешает?

Оказывается, Федор Иванович, председатель сельсовета, не возражает, сажай, пожалуйста, сколько тебе заблагорассудится, но желающих иметь гектарный огород уже нет.

У моего дома большая часть огорода отошла под пустошь, там вымахал полутораметровый бурьян, и в других частях села такая же история.

— В Москве недавно один умный человек, — стал я рассказы-

вать — говорит, что в деревне надо каждому нарезать по полгектара самое малое, и пусть люди выращивают все и для себя, и на продажу в город.

— Вот пусть этот умный человек приезжает сюда и начинает выращивать, что ему нужно. Как все горазды советы нам подавать — и то сделай, и это сделай! Пусть попробует хребет поломать хотя бы на десяти сотках, узнает тогда, как нам тут достается. Умный какой!

У дома прогуливался по лужайке взад-вперед, размышляя о случайном эпизоде: прилег на раскладушку в темных больших сенях, обращенных полдня на солнце, рукой прислонился к стене — она теплая, сухое дерево будто живое. В блочном бетонном доме к чему прислониться? На глаз блок холодный и враждебный. Слышал на днях, что в таком блочном доме, здесь, в Озерном, кто-то десять тонн угля за зиму сжег. Куда это годится, мыслимо ли это?

Так вот об этом я размышлял и вижу, что во дворе у Апасовых два мужика. Подумал, родня какая-то приехала, не Володька ли с центральной усадьбы? Точно, Володька, здороваётся издали, кивает головой, и я пошел к нему навстречу. У ворот стоит зеленая машина, вокруг нее ходит, оглядывая, жестянщик из мастерской. Это худой маленький мужичок, которого гложет только одна страсть — рыбалка. Он долго копил деньги на машину и стоял за ней в очереди, но его все обходили. Продают их в первую очередь передовикам, в этот разряд жестянщик никак попасть не мог, слишком для всех очевидно, что работа для него в тягость, душа не лежит к ней. Так и не дождался он новой машины, купил где-то с рук подержанного «Москвича», изрядно переплатив за него. Теперь то и дело всплывали изъяны, о которых он и не подозревал. И тут я совершенно некстати подвернулся ему под руку со своим неуместным вопросом о том, как показывает себя в деле благоприобретенный транспорт и доволен ли он им.

Как взвился неожиданно жестянщик! Высоким голосом стал выкрикивать, как обидели его с машиной, пришла «Нива», очередь его была, а вперед протиснулся хлебовозчик, хотя никакой он не передовик, а просто положил кому-то на лапу.

— Нет правды! — выкрикивал он. — Никому не верю! Не было справедливости и нет ее!

Он жил себе, жил лишь для себя в полную меру и хотел только одного: чтоб не трогали его и не обременяли участием в общих проблемах — пусть ими занимаются те, кому это доставляет удовольствие или по службе положено. Но вот вывернул жулик у него карман, и возопил он о справедливости. Вишь, обещали ее, а не добыли ему, не устроили пока еще так, чтоб была сплошная, всеобщая правда и справедливость! Не завосвали ее, в то время как он пропадал на рыбалке, наслаждаясь тишиной и прелестями природы. Сам он для достижения этой самой справедливости пальцем о палец никогда не ударил, не заступился ни за кого, не подал голоса, что-де обидели кого-то, хотя это и безопасно в общем-то для него было. А тут прорвало, и он вопиет.

На себя лишней ответственности, выше того, за что он зарплату получает, он брать ни за какие коврижки не хочет. Вся обида в том и состоит, что сцапали с него лишнее. А вот если б «Ниву» ему продали, которая попала в руки хлебовозчика, никаких претензий рыболов бы не предъявлял к устройству мира сего. На все вокруг смотрел бы сквозь стекло вожделенного автомобиля, приговаривая про себя: «Ну и пусть, ну и черт с ним!»

А тут вертит бублик своего «Москвича», а неотвязная мысль его преследует и гложет, точит и точит, и ком в горле стоит все время, потому что обобрали, раздели. Где же правда и справедливость, за что мы боролись? Зачем обещали?!

Но при всем при том прав в чем-то жестянщик: общественные организации совхоза беззубы. Все хотят, чтобы директор, как бог, сам все устроил, и потребовал, и установил справедливый порядок.

Соседи собираются завтра на покос — себе косить, разумеется. Слышно, как хозяин, Семен Артемович, отбивает косу. А у Витьки Апасова, соседа слева, на днях спросил, когда косить думает, и получил ответ, что лишь в середине июля разрешают для себя косить.

2 июля. Утром, когда я полыл лук, Семен Артемович, выгнав корову в стадо, остановился у моего забора, посокрушался, что опять спозаранку начинает палить солнце.

— Выжгет все! — заключил он.

На рассвете выпала роса, и было очень холодно. Горы видно. Это, считают, к дождю.

Поджидаю директора, обещавшего взять меня с собой на покос. Думаю, что со дня на день кинутся себе косить, и остановить эту стихию никто не будет в состоянии.

Воробей сидит на штакетнике забора под моим окном, клюв у него раскрыт, будто он вопиет: «Жа-а-ра! Пи-и-ить!»

Когда шел из Коробейникова по лугу, трава хрустела под ногами. Приходила на память строчка летописи: «Бысть сухмень велия по всей земле и воздух курящийся и земля горяще...»

Страшно, когда вдруг вообразишь, что засуха — везде.

Как все тут, впрочем как и всюду, сложно до невозможности! Простая штука, слепому видно, как водовозчик, который живет на задах моего огорода, использует машину в личных своих целях. День-деньской, как ни погляжу, машина у его дома. А вечером и ранним утром — то отъедет, то подъедет, судя по надрывному звуку мотора, машина полная, видимо, воду подвозит огород поливать и на строительство частного дома. Кому-то сказал об этом, между прочим. И вот что в ответ:

— Да это Танашкин воду развозит по объектам, нальет везде и домой, он больной, еле ноги таскает, работает через силу.

Точно так же простой показалась история вчерашняя, связанная с покосом. Косить частникам запретили до десятого июля, хотя мои соседи косят себе преспокойно, впрочем, не уверен, так ли это. Кто может в такой обстановке запросто косить спокойно, а тем более преспокойно? Объезжая луг, директор вместе с главным агрономом и вторым секретарем райкома партии наткнулись на свежую кошенину: оказывается, киномеханик, здоровый кряжистый мужчина средних лет, скосил себе делянку совхозным трактором. Говорит, с разрешения агронома отделения.

Утром сегодня слышу: сняли с должности агронома отделения за разрешение, которое он дал на частный покос. Чтоб другим неповадно было. Так ему и надо, бестолковый какой парень!

Одновременно рассказывают, что киномеханик пришел и повинился: соблазнил-де тракториста бутылкой водки вечером, тот и смахнул ему по-быстрому делянку. Наплевать ему на общий порядок, только бы себе поскорей, а там хоть трава не расти.

Поплелся вечером я в контору отделения, на другой конец села. Застиг меня в дороге дождичек, спрятался я под ветлу в рощице, где каждой весной происходит чествование передовиков посевной. В пять минут дождь прошел, тучу отнесло далеко, — в сторону Петропавловки, там небо нахмурилось.

Застал в конторе управляющего и уволенного в наказание агронома. И тут обнаружился совершенно неожиданный поворот во всей этой истории. Кто ж мог такое предполагать!

У кинемеханика путевка в санаторий, в Белокуруху, вовсе он не так крепок и здоров, как кажется со стороны. А с сеном как быть? В самое горячее время путевка попала! И упустить жалко, а как с сеном? Вернется назад через месяц к шапошному разбору, тогда хоть корову веди со двора. И вот молодой агроном сжалился и взял на себя решение вопроса, который относился к компетенции директора, не меньше.

Был бы заведен порядок в сенокосных делах — чего проще? В виде исключения накоси себе, товарищ кинемеханик, и поезжай поправляй свое драгоценное здоровье. Но порядка нет. Кто понахальнее, поточайней, начинает косить первым, не обращая внимания на предупреждения и запреты. Совестьливые переживают и не выдерживают, бросаются тоже косить, но им-то, как правило, и достается наказание — то высрамят, то, хоть и необычайно редко, оприходуют сено в совхоз.

Сельсовет остался совершенно в стороне от этой важнейшей кампании, хотя в совхозе в общей сложности живет около пятисот пенсионеров. Как быть с ними? Многие из них еще могут косить вручную — зачем на них распространять запрет на кошение до определенного срока? Как правило, они косят те части заливного луга, куда с техникой хозяйство не заходит. Пусть бы себе и косили помаленьку. Да это реально так и происходит: как подойдет трава, выезжают на луг пенсионеры, инвалиды, участники войны, не обращая никакого внимания на установленные общие сроки. И как это скверно, что принимаются решения нереальные, невыполнимые и вредные. Результат их один: первыми на центральной усадьбе сено поставили нынче, как и всегда, люди, менее всего связанные с хозяйством. Причем накосили они себе совхозной техникой. Они наготове со своими пол-литрами, приманивают, соблазняют, выводят из строя трактористов. И как хитро сделали нынче: накосили себе в чужом логу, голой рукой их никак не возьмешь. И так из года в год.

Директор Аксенов успокаивает: никто у нас без сена не остался ни разу, а в Озерном чуть не в каждом дворе переходящий остаток — один стог, а то и два. И в этом засушливом году не меньше накосят все, луг вон он какой. Исходя из этого, директор не хочет мешать естественному ходу вещей, и тут в чем-то он прав: из двух зол меньшее состоит в том, чтобы не принимать лишних невыполнимых решений.

Однако в общем итог отрицательный. Страдают хорошие работники, для них заготовка корма для коровы сопряжена с очень большой первотрепкой. Выигрывают нахрапистые, они первые у общественного пирога и норовят отхватить себе кус побольше.

5 июля. Наконец-то устроился, дом стал нравиться, особенно приятно сидеть в спальне за столом, который застелил льняной голубоватой скатертью. В окно виден луг с ближними отдельно стоящими раскидистыми старыми вербами, а подальше — рощицы. Потом синеватая гряда лесополос.

Телята пасутся на лугу, раздолье, радующее глаз. После вчерашнего дождика, хотя и недолог он был, трава заметно повеселела. Прекрасная земля, как хочется, чтобы жизнь тут была получше устроена.

Пошел в библиотеку без надежды застать библиотечаршу на месте. И точно: написано, что библиотека открыта с десяти часов утра, а выходной день пятница, однако на двери замок, хотя сегодня суббота. Заглянул на почту, она в этом же доме, узнать, что слышно про библиотечаршу. Тут ничего не могли мне путного сказать две женщины: почтарка и заведующая сберкассой, перед которой ящик с истрепанными от частого употребления карточками лицевых счетов. В Озерном на

живую душу самый большой денежный вклад. Говорят, что деньги делают на луке и на мясе.

У магазина толпа. Продают водку после долгого перерыва. Берут все — и мужики, и женщины, никто без бутылки или нескольких бутылок из магазина не выходит. На почте мне пояснили, что все связано с сенокосом: расчет за косовицу, сгребание и метание сена производится исключительно натурой. А так как сена в селе ставится много, гораздо больше, чем для общественного животноводства, то и водки надо много.

Вдруг мне показалось, что я никогда не узнаю правды об этом селе и его людях, что для этого нужно немыслимое и неисполнимое: узнать жизнь всех здешних обитателей.

Вчерашняя и сегодняшняя прогулки по селу — и вчера и сегодня я побывал на самом дальнем конце его, — кирпичном заводе, — привели меня к мысли о том, что живут озернинцы отнюдь не хуже, чем на центральной усадьбе, что тут много домов построено в последние годы, и каждое подворье тут лучше, чем в целинном поселке: огромный скотный двор с отделениями для крупного рогатого скота, свиней и птицы, а также овец, которых держат здесь почти все. В противоположной стороне каждого двора — баня и летняя кухня, а также кладовая, некоторые совмещают все это в одном строении. Живут тут исконные крестьяне, которые прекрасно знают, что зима долгая, не меньше семи месяцев. Если хочешь с толком держать скотину, ее надо как следует укрыть. На центральной усадьбе горожане-целинники надеялись схитрить, затолкать скотину в кое-как сколоченные сараюшки. Но теперь, по примеру озернинцев, и они ставят добротные надворные постройки.

Тут все лучше приспособлено для индивидуального хозяйства — огромные огороды, практически неограниченные покосы, если не полениться косой помахать, можешь заготовить себе сена сколько угодно. Но все поставлено в этом деле на своеволии и самозахвате: кто побесовестней, побойчей, попронирыливей и понахальней, — тот первым, несмотря на громкие и строгие запреты, начинает косить и ставить себе сено. Так и теперь. Как ни грозились, как ни строжились, и сегодня перед животноводами директор выступил с угрожающим заявлением, ничего не вышло из всего этого. Ни у кого не оприходовали в совхоз ни одного стога незаконно поставленного сена.

Говорят, в колхозные времена несравненно больше порядку было в пользовании лугом, самозахватом тогда не баловались.

Завтра официально начинается общий покос. По словам соседа, там будут сшибаться косами за лучшие участки. Поглядим, так ли это. Но боюсь, что все службы в совхозе, все цеха будут парализованы. В столовой хмурая заведующая объявила при мне только что прибывшим из Пристани трактористам отряда Сельхозхимии, что завтра нас тут никого не будет. Обескураженные таким недружелюбным заявлением, они ничего не нашли ответить. Возможно, что это их вполне устраивает, так легче убраться за реку домой, в Усть-Пристань, до понедельника и покосить там себе сена.

Мне кажется, что тут, в Озерном, более сильно индивидуалистическое начало, все привыкли жить для себя, наученные еще горьким колхозным опытом, когда работали в колхозе за так, без оплаты, лишь за право пользоваться приусадебным участком. Тогда каждый рубль, вырученный от продажи на рынке не излишков — откуда им было взяться! — а просто той продукции, которую произвели в своем хозяйстве, откладывали на книжку, на «черный» день. Эта привычка осталась и по сию пору, хотя даже нынешняя страшная в общем-то засуха никого не приводит в отчаяние, ибо по опыту прошлых засушливых лет жители здешние отлично знают, что мало что меняется для них: и при убытках зарплату свою они получают.

Стенаний и причитаний я не слышал еще ни от кого, огороды тоже достаточно хорошие, картошка пока зеленая и буйная, хотя опасаются, что засуха прежде всего скажется на ней. Все остальное поливают.

Николай Федорович Танашкин, шофер-водовоз, про которого я думал вначале с неприязнью, что он больше работает на себя, чем на совхоз, как выяснилось, хороший работяга. Он встает в пять часов и начинает возить воду по фермам и строительным бригадам, включая несколько объектов на центральной усадьбе, добирается даже до Кудрихи, где расположена на летних выпасах ферма третьего отделения. Так вот, этот самый Николай Федорович, человек в высшей степени порядочный, вчера мне говорит: «Кто работает и не ленится — живет хорошо». Они втроем в прошлом месяце заработали без малого семьсот рублей: жена-доярка — триста, сам — двести восемьдесят, сын, недавно пришедший из армии, — сто восемьдесят. Четыреста рублей отнесли на книжку. Родичи из города удивляются: мы в городе столько не зарабатываем! Далее он продолжал:

— У нас все свое, только сахар и соль покупаем. На книжке у меня порядка десяти тысяч есть, но машину брать я не хочу. Думаю: «Болею, мало ли что может быть». А про сено нечего беспокоиться, у нас только самый ленивый может без сена остаться. Всегда, в любой год на лугу накашивали и нынче накосим. Это есть у нас такая порода людей, да она и везде, наверное, есть, всех подзуживают и возмущают. Им все скорей хочется, первыми захватить себе побольше и получше, они не могут спокойно смотреть, если кому-то другому участок лучше достанется, жизнь для них не в жизнь, если они никого не отпихнут или не опередят. Я тридцать лет с женой литовкой сена накашивал вдоволь, а в зиму у меня всегда две головы крупного рогатого скота идут и несколько овец. И на начало зимы следующего года всегда остается. И никогда я не имел привычки подкупать водкой механизаторов, чтобы они мне накосили. Это пакостная привычка, она опять-таки идет только от этого: скорей себе захватить, наплевать, что человек выйдет из строя на другой день. Какой он в самом деле работник, если в жару пол-литра выпьет? Да и без закуски, как обычно бывает, наспех. Потом и переворачиваются, и калечатся.

Вот такова жизнь при самозахвате, когда каждый рвет в свою сторону все, что можно. Постройки, которым я радуюсь, огромные скотные сараи, бани, кухня и кладовки — все это, как правило, не из совхоза, а добыто окольными путями. Но при том, что денег тут на живую душу вдвое больше накоплено, чем на центральной усадьбе, тут завидуют краснодарцам. И зависть, как я подозреваю, идет не только от того, что там лучше клуб и строится спортзал. Инстинктивно, так мне хочется думать, завидуют тому, что в самом строе жизни Хомячьего Лога больше справедливости, управа есть на распоясавшихся, кто без зазрения совести под себя все гребет. На центральной усадьбе люди больше, чем здесь, радуются удаче хороших работников — Толика Скворцова или Алика Пенкина, а также тому, что преобразается к лучшему поселок, который уже радует глаз. А здесь, в Озерном, меньше этой общей радости, но люди к ней стремятся и завидуют не просто красивому магазину с надписью славянской вязью «Универмаг», а более наполненной общим интересом жизни. Но все это озерницы хотя бы прибавить к тому, что сегодня имеют, а имеют они немало: возможность держать много скота, хорошо зарабатывать — хорошо, но без самозахвата, от него все устали, даже самые прожженные, ибо они все-таки трясутся, хотя угрозы потеснить их, призвать к порядку пока не исполняются. В страхе и неправде жить устают все.

Утро 10 июля. Сегодня официально разрешено косить себе траву. В селе никого не видно и не слышно, все на лугу. Облачно, но облака реденькие, сквозь них то и дело обжигает солнце.

Вчера вечером соседка, поставив на прибитую к забору полочку молоко для меня, рассказала про сенокос. Она была на стогу с внучонком, вершить было тяжело, потому что все эти дни почти непрерывно дул ветер, он задирает подаваемое снизу сено. Однако дело сделали, вздохнули свободно, но тут новое неприятное известие: на конюшне сказали, когда хозяин пришел за конем, собираясь ехать на свою смену сторожить уголь на берегу Чарыша, что все незаконное, не в срок поставленное сено будет оприходовано в совхоз. И что уже К-700 отправился на луг вместе со стогометом.

— Дед мой заматерился не знаю как, говорит: пусть берут, раз мы не заработали! Совсем расстроенный уехал, теперь души у него нет, все будет переживать: отберут или не отберут?

Утром в кабинете у директора, когда он говорил о необходимости оприходовать незаконно поставленное сено, все казалось простым. Перед глазами, в воображении, рисовался образ условного плакатного хищника-собственника, который пренебрегает общими нашими интересами, ведет себя нагло и нахально, подавая всем отвратительный пример рвачества.

Теперь я смотрел в лицо старой женщины в очках, поставившей себе сено не в срок, расспрашивал, каким образом она взобралась на стог, располневшая, с трудом передвигающаяся и по двору, и по огороду. Ничего в ней не было неприятного, напротив, лицо покорное и доброе, она, усмехаясь, рассказывала, как подсаживали ее на стог, как скользко и страшновато было стоять под ветром.

А утром, смотрю, едет на лошади молокосборщица, на телеге плотно поставлено не меньше десятка бидонов, она останавливается возле каждого двора, и хозяйки выносят утреннее молоко, оно сейчас же пойдет на молокозавод, там переработают его в сыр и масло. И с этой точки зрения, с точки зрения наших общих интересов, и королева, которую держат эти люди, мои соседи-пенсионеры, и поставленное ими с большим трудом и нравственным напряжением сено — наше народное достояние. Я думаю о них не с чувством неприязни, а с благодарностью за то, что они, напрягая немногие свои оставшиеся силы, трудятся не покладая рук, не просиживают часами у телевизора. Они и себя кормят, не претендуя на совхозное молоко, и еще два-три человека пользуются плодами их труда. И вспоминая вчерашнее совещание в кабинете директора и его угрозы в адрес людей, подобных моим соседям, я думаю, что главная вина лежит на людях из сферы управления, которые не могут руководить толково.

Кормозаготовительное звено косило, сгребало и ставило сено. Ползали комбайны с жатками. В той части луга, где подсохла скошенная накануне трава, ее собирали копнителю и свозили к месту скирдования. Здесь и там видны косцы: пенсионеры, механизаторы, один из них явился на своем тракторе, который стоял на краю загонки, а хозяин вместе с женой махал косой. Встретился и главный ветврач — он помогает косить отцу, а заодно и себе планирует тут стожок поставить: все легче просить у директора зимой выписать сена, когда хоть сколько-то своего есть. Других энтузиастов ручного кошения, кажется, нет среди главных. Этот самый молодой и совестливый.

Мы подъехали к двум машинам, стоявшим на обочине дороги. Тут шофера выжидают, надеются договориться с бригадиром или управляющим, а если не удастся с ними, то непосредственно с самими механизаторами за несколько бутылок водки о механизированной заготовке сена.

Пока бригадир и учетчик заняли рубежи обороны и, выполняя указания управляющего, стараются не подпускать их близко к механизаторам, не давая возможности вступить с ними в прямые переговоры. Добром, разумеется, это не кончится, Серега Хапков уже навеселе. Он на комбайне, а работать тут надо с трезвой головой, чрезвычайно внимательно: на каждом шагу то яма, то кочка, луг есть луг.

Возле другого механизатора дежурит жена, потому что считает своего благоверного человеком ненадежным и нуждающимся в особом контроле. А соблазнитель, искушитель на каждом шагу. Чего не отдашь, только бы не махать косой в адское пекло, когда всякая пакость ест тебя и гложет, особенно пауты, богом проклятая тварь. Гнусно, знаешь, что мерзко соблазнять и подсовывать бутылку, а что поделаешь? Сам председатель рабочего комитета только на нее, эту бутылку, и уповаает.

Так вот стремительно идет жизнь вперед. Где-то приняли постановление, чтоб разрешить косить вручную не из десятой доли, а исполу — пятьдесят процентов себе, половину хозяйству. Тут разрешают косить вручную сколько тебе заблагорассудится, хоть двести центнеров, но охотников с каждым годом становится все меньше и меньше.

На центральной усадьбе никто давно уж литовку в руки не берет. Молодые вручную косить не желают, лучше корову не будут заводить. Значит, один путь, одна дорога и для Нижне-Озерного: механизировать заготовку сена, выписывать на корову готовое, а кто хочет иметь побольше — пусть потрудится сам. Все больше становится и пенсионеров, которые физически уже не могут в руках держать косу. Лучше и им поставить сено, чем завтра ломать голову, где для них молока взять.

Восемь часов вечера. Солнце палит, ветер устоялся, опять северный, бездождный. Деревня вымершая, большинство на покосе. Стадо вернулось с пастбища, а его никто не встречает. Коровы жадно хватают сохранившийся у заборов бурьян.

Увидел широкую желтую прядь на березе. И зарумянились, покраснели ранетки, но все червивые.

Ехал на центральную усадьбу, страшно было смотреть на поля. На гривах хлеб совсем маленький, и четверти нет в нем, листья на стебельках пожелтели и скрючились. Подали на списание посевов почти на двух тысячах гектаров. А в Коробейниково, по слухам, выгорело совершенно шесть тысяч гектаров хлебов. Приезжала комиссия из района, посевы эти списали, совхоз должен за них получить страховку.

В ночь на 14 июля, когда я был в клубе, началась гроза. Сейчас половина первого, идет дождь. Если б на неделю раньше, многое еще бы поправилось.

Какая это великолепная музыка — дождь по крыше! Дождь обложной, во все стороны вглядывался, просвета в небе нигде не видно.

Витька Апасов плетется к соседям отдать машинку для консервирования, ягоды запасали на зиму. Я не видал его дня три.

— Чего не видно тебя, Вить?

— На покосе был.

— А я вчера вечером сидел в клубе, ждал танцы, думал, ты явишься.

— Я был, только позднее.

— Сегодня ни черта вы в клуб не попадете. Я ключ забрал, висит у меня дома на гвозде.

У Витьки синие глаза разгораются от любопытства, он вопросительно улыбается.

— Хватит в таком безобразном клубе танцевать, надо его сначала привести в порядок. Я штукатурку в фойе лопатой обвалил. Теперь деваться некуда, надо все ремонтировать.

— Его развалить надо — вот и все.

— Клуб сносить нельзя, Витя, ему еще придется послужить, даже если разделят совхоз. Что прежде всего надо? Мастерскую или склады?

— Нет!

— А что?

— Клуб.

— С клубом сразу не выйдет ничего. На следующий год запланирована школа со спортивным залом. Сразу клуб и школу строить по-роху не хватит. А школу раньше чем года за три не поставить.

У Витьки печальное лицо. Он все понимает, понимает, что клуба нового еще долго не видать его родному селу, где он решил остаться.

Вчера у меня было чувство вины перед ребятами, которые сидели на крыльце клуба. В чем-то самом главном мы обманули их, в том числе и моего веселого белобрысого соседа Витьку. В чем же именно? Не в том, что наобещали им золотые горы — и технику, и заработки. Этого в общем-то не обещали, и ребята не требуют техники: нет новых тракторов, старые и те все заняты. Не боятся ребята трудностей. Ничего в этих самых трудностях для них нет неожиданного. В самом деле, кто из них не знает, сколько сидят в ожидании запасных частей механизаторы и шофера? И что они в это время практически ничего не получают? Живут на собственных харчах...

На этой строчке заскрипела входная дверь на веранде, и появился улыбающийся Витька. Он посчитал, видимо, что мы не договорили с ним на улице и явился завершить тему.

Я прочитал ему это место и спросил, знал ли он о том, что его ожидает, если решит стать механизатором или шофером.

— Ну!

(Это в смысле «да», конечно.)

— А правильно думать, что тебе не страшны никакие совхозные трудности после того, как ты вырос без отца в семье, где вас было пятеро?

— Ну...

(То есть разумеется, не страшны трудности.)

Тут у меня мелькнула мысль о том, что мы с ним совершенно по-разному смотрим на одни и те же вещи. То, что с моей стороны видится трудностью, перед чем я задерживаюсь в почтительном размышлении как перед препятствием, для преодоления которого нужны мужество и сила воли, для Витьки — нечто совершенно естественное, как воздух. Он просто живет посреди всех этих жизненных обстоятельств, привык к ним, но вот к дрянному, грязному клубу с ленивыми и беспомощными работниками он привыкнуть не может.

Когда речь идет о запасных частях, которых нет и нет, он ворчит, но терпеливо будет их ждать. Он не радуется простою, но воспринимает его как нечто в данный момент оправданное какими-то общими причинами, в которых не виноваты руководители совхоза. Но когда речь идет о клубе — ветхом, построенном в первые послевоенные годы бедным-пребедным колхозом, едва стоявшим на ногах, в котором почти ничего не платили колхозникам, он, Витька, и иже с ним мириться никак не желают. Они воспринимают его в общем-то правильно, как результат бездушия и невнимательности совхозного руководства к ним, молодым ребятам, которые остаются в родном селе не из боязни, что не смогут прижиться в городе, не из-за своих троек в аттестатах, а именно потому, что любят свое Озерное за приволье, за то, что никакой город никогда не будет иметь: чистейший воздух, реку, бескрайние по-

ля, окаймленные цепью синих гор на юге, за неоглядные луга в пойме Оби и Чарыша, рыбалку, охоту, купанье.

И тут я хочу сказать наконец-то, что мы их обманули, когда уверяли, что они тут нужны, что каждый из них нужен. Нет, мы совершенно равнодушны к ним, нам не интересны их судьбы. Вот разве что директор хоть мельком иногда поинтересуется с живым участием, что за жизнь у парня, остальным же ребята безразличны совершенно. Всем прежде всего не интересно, что они думают и на что надеются, не интересны именно своей индивидуальностью, тем, что составляет неповторимо своеобразную личность.

Прошли дожди, две ночи подряд лили не переставая. Копал в огороде — досуха не докопался.

Вчера объехали с директором все поля. Кукуруза отменная, давно не было такой. Но половина посевов пшеницы выведена из строя засухой. Во многих местах трудно даже узнать, что тут была пшеница: рыжая, пожухлая травка, сквозь нее проглядывает земля. Там, где хлеб сохранился, он низкорослый, колос маленький. Но, возможно, влага поможет зерну налиться. В огородах все воспрянуло, огороды хороши, картошка, как все говорят, теперь будет. И помидоры, огурцы и прочая овощь. Буйно цветут подсолнухи. Порыжевший луг ожил и снова наливается зеленью.

Но не все успели сгрести и застоговать свое сено. Хотя многие уже управились с этим делом. С покосом никогда не бывает благополучно: обязательно заждит в это время. Не туда, где просят, а туда, где косят!

Мечты, планы и реальность. Два вечера был в клубе, сидел, говорил с ребятами. Обстановка жалкая, клуб старый, с маленьким низким залом и крошечным фойе. И родился план генеральной реконструкции: клуб отремонтировать силами молодежи на воскреснике, сделать это повеселей, праздником, с хорошим ужином, песнями и танцами. Я ко всему этому мысленно прибавил еще реставрацию мемориала, который пришел в ветхое и убогое состояние, а также стал прикидывать, как заменить забор, проложить тротуар у старой колхозной конторы. Если бы ко всему этому еще снести полусгнивший амбар напротив сельского Совета, центр села сразу бы преобразился.

Дня два это представлялось вполне реальным. Председатель сельсовета — за, директор тоже вроде бы загорелся желанием помочь и в ремонте клуба, и в реставрации мемориала. Молодых спрашивал: согласны ли они потрудиться на воскреснике, чтоб на заработанные деньги приобрести для клуба хороший проигрыватель с колонками, все — за. Я бродил у клуба, прикидывал, как и что тут будет, мне рисовались уже деревянные кружева на клубном карнизе и наличниках, я предвкушал общую радость, что лучше можно жить, если захотим и возьмемся, мне рисовался урок коллективного труда, который подымет и сплотит деревню...

Увы! Вчера явился директор с шабашником Андреем, который уже отделал на центральной усадьбе клуб, контору, столовую, два магазина, а также детсад. Походили-походили вокруг мемориала и разошлись, ничего не решив. Шабашник заломил несусветную цену: двадцать пять тысяч рублей. Директор громко заявил, что денег вообще нет, за первое полугодие зарплату уже намного перерасходовали, скоро рабочим нечем будет платить, а тут каждый старается внести ценные предложения, всем поскорее хочется сделать и то, и другое. Говорилось все это для меня, хотя накануне мы обсуждали слухи о возможном разделе с Озерным и сошлись, что нельзя оставить озерникам на память пришедший в запустение мемориал и обшарпанный клуб.

Теперь все грандиозные планы рухнули, и смешными мне кажутся надежды на председателя сельсовета Федора Ивановича, у которого на уме несметанное еще свое сено; оно лежит под дождем в валках — годно или нет?

И на директора напрасно уповал. Он уже открестился от Озерного, хозяйственник взял в нем верх, он положился на то, что порядок тут будет наводить кто-то другой, а не он.

Может, это и правильно? Не лезть, не трогать, не шевелить — оставить все как есть, пусть и в самом деле новый директор разбирается и делает все, как ему захочется.

Черт его знает, как лучше. Но есть, есть сейчас привкус того, что в предвидении раздела нынешний директор натягивает одеяло в свою сторону — в сторону центральной усадьбы.

День. Половина второго. Небо в редких прозрачных облачках, жарко. Вчера вечером постоял у мемориала. Рассматривал фамилии. Вот откуда появились, оказывается, в «Краснодарском» совхозе в самые первые годы целины Капустины, Рожновы, Парахины, Солодиловы, Гришины, Четвертаковы... Тогда я и не ведал, что все они не пришлые тут люди, а исконные, озернинские, потомки тех, кто пал от рук колчаковцев и не пришел с войны. Стали в школе собирать карточки для галереи погибших воинов. Я долго рассматривал их, и ком стоял в горле. Безусые молодые парни в косоворотках, мятых дешевых пиджаках, скованное выражение на лицах, потому что многие фотографировались, наверное, в первый раз в жизни. Так вот какими они были — родоначальники самых известных в совхозе династий.

С войны они не явились домой, в Нижне-Озерное свое, большое село на краю Чарышской поймы посреди неоглядных лугов и полей, ограниченных на южной стороне горизонта, там, куда вздымаются пашни, синей грядой гор.

Я подумал, что озернинцам вспоминалось родное село свое таким, каким я увидел его в этот вечер: на огородах цветущие подсолнухи, с луга исподволь надвигается на село туман, в нем плывут дома. На поляне собираются парни и девчата, слышны приглушенные молодые голоса, смех.

Часть плиты со словами «Никто не забыт, ничто не забыто» отвалилась, и слова эти приходится не читать, а угадывать.

Надои, привесы, покосы, посевные и уборочные так захватывают нас, что мы забываем, откуда мы пошли есть и для чего.

Неужели и после нас так будет?

По улице навстречу друг другу несутся две грузовые машины, поднимая облако пыли. Стараюсь определить, в какую сторону ветер, но ветра нет, облако повисло над центром села. Я кинулся в сельсовет, стоящий в густой тени деревьев. У порога мокрая тряпка, полы только что вымыты, приятно блестят, будто лакированные, в помещении прохладно.

Здоровуюсь как можно дружелюбнее с тремя женщинами: двое сидят за столами, третья — у порога, видимо, она рассыльная.

— Где Федор Иваныч? — интересуюсь я, переводя дух.

— Нет его! — нелюбезно отвечает мне красивая девушка. Она была бы еще лучше, если бы лицо ее не портила возникшая при моем появлении надменная замкнутость.

— А где председатель?

Все промолчали, хотя через несколько минут в разговоре выяснилось, что он уехал куда-то на своей машине с вернувшимся недавно в село художником. Говорить со мной явно не желали, мне бы понять это сразу, подняться и уйти, но я хотел хоть несколько минут передох-

путь в прохладе сельсовета. На уличное пекло страшно высовываться.

— Не слышно, в Барнаул нынче не собирается Федор Иванович? — попытался я продолжить разговор.

— Машины не дают, — не поворачивая головы в мою сторону, ответила девушка. — Представляешь, — это она к своей собеседнице, сидевшей напротив, — у них надо машину просить!

В голосе ее звучало искреннее негодование.

Я стал догадываться, о чем речь: сельский Совет дал на уборку свою грузовую машину совхозу, а тут, когда понадобилось ехать в Барнаул, совхоз отказал вчера председателю, хотя накануне машина была обещана. Но и не только в этом было дело.

Интонация была знакома: не далее как вчера в столовой с таким же вот негодованием накинулись на меня: ах, эта окаянная центральная усадьба, такая-сякая, когда уж мы от нее избавимся, все только туда и туда, а тут детей в садике девать некуда... И тут меня все принимают за уполномоченного центральной усадьбы и стараются излить на мою голову свою горечь.

Я очень разозлился в столовой на девчат, которые не дали мне спокойно поесть, стал говорить им, что живут они гораздо лучше в Озерном, чем люди на центральной: дома лучше, рубленые и кирпичные, просторные, не то, что щитовые времянки, а саран в Озерном лучше многих щитовых домов центральной усадьбы, в каждом дворе баня и летняя кухня. И денег тут вдвое больше на живую душу накопили.

— У меня нет денег, — возразила заведующая. — А садик, а столовая, а клуб какие у нас?

Тут все правильно, конечно, крыть нечем. В Москве, собираясь пожить в Озерном, я рисовал себе картину того, как приду в сельский Совет, соберутся у Федора Ивановича его помощники, побеседуем мы не единожды обо всем, надеялся, что в откровенных разговорах скорее пойму дух села и его проблемы, однако пока ничего у меня не получается, такое чувство, что стараются поскорее избавиться от меня. Что делать? Прислушиваюсь к тому, что говорят между собой женщины, не обращая на меня внимания, будто и нет меня.

— Вчера из Пристани приезжает заместитель предрика и спрашивает меня: какая бабка тут у вас померла? Я говорю: никто у нас не помер, ни бабка, ни дедка. А он: кто-то телеграмму дал отсюда, что бабка померла, должен поп явиться. Ты, говорит, последи, выходи к каждому автобусу и встретить его вежливо, но скажи: так, мол, и так, пусть назад поворачивает. Я говорю: как же я его узнаю? А он: смотри, может, он в полной своей форме будет, тогда кто ж его не узнает, всем видно, что поп. Но может и так быть, что явится в обычной одежде, тогда по волосам смотри — раз длинные волосы, значит, поп.

Стали гадать женщины, кто бы мог дать телеграмму. Я же прислушивался с интересом к разговору и представлял себе, как молодая женщина дежурит на автобусной остановке, поджидая командировочного батюшку, чтоб ошарашить его: зря побеспокоил его какой-то шутник, никакая бабка не умирала. Но вполне возможно и то, что телеграмму в самом деле отправили отсюда, но пригласили священника не на отпевание, а причастить умирающую.

Проходил мимо строящихся домов и соблазнился зайти и перекинуться парой слов с хозяевами.

В Озерном давно заведено, что строители не занимаются отделочными работами, хозяева сами и штукатурят, и красят свои дома. Зашел в первый дом: перегородки поставлены, все готово к штукатурке, снаружи покрашены веранда и карниз.

Хозяйка набросилась на меня:

— Чего это краску заставляют покупать за свои деньги — совхоз бедный такой, что ли?

— Совхоз такой, как вы в нем работаете: пока одни убытки, — жестко ответил я. — Квартиры вам на всю жизнь, для себя стараетесь, тут не жалко сколько-то и потратиться.

Отличный дом из лиственницы, срубленный в Горном Алтае. Сколько мучились зимой, чтоб вывезти срубы к дороге: пробивались к Мертвому озеру, таскали каждую машину туда-сюда трактором, весной снова приехали — перевозить с дороги в совхоз. В один конец это восемьсот километров. Дом метров на шестьдесят, а распланирован удручающе плохо: как старая деревенская изба. Входишь прямо на кухню с большой русской печью. Из кухни попадаешь в большую комнату, зал, оттуда в спальню. Во вторую спальню вход также из кухни. А вполне можно было сделать переднюю, изолировав кухню.

Пошел я, сам не зная куда, и попал к двум другим новым домам из кирпича. Возле одного из них два мужика, старый и молодой, возились у нового капитального сарая, покрытого хорошим шифером на два ската, огромного, как ферма.

Я хотел сначала пройти мимо, издали поклонившись на приветствие парня — высокого, черноволосого, с внимательными серьезными глазами. Лицо его было знакомо, но я не мог вспомнить, кто он. Зато пожилого я тотчас же узнал. Это был Николай Филиппович Малютин, скотник, отец пяти дочерей, угощавший однажды меня ухой на лугу.

В свое время Дуся Третьякова, рассыльная сельсовета, по рассеянности своей повестку из военкомата, предназначенную Николаю Леонтьевичу Малютину, отнесла его двоюродному брату Николаю Филипповичу. И отслужил Филиппович за братца своего три года. Когда вернулся, военком поднял брови:

— Что за чертовщина? Посылали Леонтьевича, а вернулся Филиппович!

Вот этот самый, что конек на крышу сарая приделывает.

— Сколько же скотины можно загнать в такой сарай — это ж целая ферма тут поместится! И еще все озернинцы обижаются на центральную усадьбу, а там дома хуже этого скотного двора.

— Если жить собираешься, то и сарай надо хороший ставить, — отозвался сверху, прилаживая конек, Филиппович.

— Полоскина я все мучаю, почему весь лес дает в Озерное, а в Хомячем Логу у него никто доски выпросить не может.

— Мы у него тоже ничего не можем выпросить, давно уж на него рукой махнули.

— А откуда же такой хороший лес? — не унимался я.

Лес и в самом деле хороший. На центральной усадьбе сараюшки как начали с первых лет целины лепить бог знает из чего, так и сейчас продолжается: в лучшем случае горбыль, а то и комбайновские полотна шли в дело, и солома на крышу, придавленная каким-нибудь колесом. Тут плахи в руку толщиной, подогнанные одна к другой так хорошо, что, как говорится, комар носа не просунет. И для верности еще и нащельник. А столбы из пропитанных против гниения толстых бревен.

— Из Чеканихи лес, там берем, — пробормотал, не глядя на меня, Малютин.

— Выписывают там? — я не отвязывался.

— Выписывают, выписывают. Хорошо так, Ваня, ладно? — Это уж не ко мне, а к молодому парню, своему зятю, как оказалось, обратился хозяин.

Ветровые доски, наложенные друг на друга, или косынку, он пропилил сверху вниз, чтоб они сошлись.

— Хорошо, ровно, — отвечал Иван. — Как у Аннушки...

Сначала я не понял, потом дошло, когда увидел, как весело блеснули глаза у Ивана. Я спохватился: чего дурака валять, будто не понимаю, что достают всякими незаконными путями. Можно было бы написать, заплатить деньги и получить, не прибегали бы ко всяким окольным путям. Но пока вот так, как есть. Везут зимой из бора трактористы лес, захотят погреться — на большой дороге из курящегося снега вдруг возникает гостеприимное Озерное. И греются, и оставляют хлыст приютившим их хозяевам. Выпишут кубометр, а с бутылкой водки возьмут два. Пропасть всяких ходов есть. Деваться нскуда. Надо доставать лес на баню, общей, как в Хомячем Логу, тут нет, по соседям не находишься, свою обязательно надо иметь.

И корову надо держать — в магазине не только молока нет, и быка на мясо к зиме вырастить. И пару-тройку свиней, и овец на мясо, шерсть, валенки, носки: зима длинная и холодная. Двор для скотины должен быть просторный и теплый — иначе сколько ни корми, проку не будет, все только на поддержание живого духа уйдет.

Сменил я пластинку:

— Говорят, Николай Филиппович, вы можете кинобудку новую к клубу сложить. Можно договориться с вами об этом?

— Нет! — категорически отказался Малютин. — У меня на очереди десятка полтора печей, пока их все не переделаю — и говорить не о чем.

— Все вы, как единоличники, себе и себе, — взвился я.

— Почему вы так решили? — спокойно, но с холодностью спросил парень.

— Как об общем деле заговоришь — так вы все в сторону.

Такой поворот разговора и мое намерение уйти и прекратить его на этом заставили Николая Филипповича, тестя, слезть с крыши и миролюбиво обратиться ко мне:

— Если б помощника хорошего дали — отчего не сделать? За день и сложил бы.

— Я вам найду хорошего помощника. Вот Иван, зятек ваш, плохой разве помощник? Поможешь, Ваня? — обратился я к Ивану.

— Даст директор триста рублей — сложим, — отвечал зятек.

— Директор не купец, сколько стоит, столько он и может.

— Не скажите, — усмехнулся Иван, — когда прижмут его шабашники, он не очень-то в ценник заглядывает.

Директор днем заехал. Лица на нем не было, где-то в дороге прихватило. Я положил его в темных сенях на раскладушку. В избе жарко, окна все на солнце выходят, а тут прохлада. Дал валидол, открыл дверь на веранду, себе принес стул и сел рядом. Какое-то время Федор Андреевич лежал молча, на лбу у него выступила испарина, боль, видимо, острая была, проступили густые красные прожилки на скулах. Я подумал, что вижу его каждый год, привык и не замечаю, как он изменился за то время, пока мы знакомы. А познакомились летом 1957 года, когда я приехал в совхоз со своими десятиклассниками. Ему тогда еще тридцати не было, сидели мы с ним в одной комнате, он — председатель рабочего комитета, я — комсорг. У него тогда был густой волнистый чуб, а теперь волосы выпрямились, стали жесткими и почти совершенно седыми. Укатали крутые горки!

Понемногу стал директор приходить в себя. Приоткрыл набрякшие веки, посмотрел в потолок. Виноватая улыбка скользнула по лицу. Проговорил, с трудом разжимая губы:

— А тут вполне жить можно, обвели меня помощники вокруг пальца — убедили, что нельзя, дали хозяину новую квартиру. На центральной усадьбе за милую душу в таком доме жили бы...

По дороге в Озерное наткнулся Федор Андреевич в поле на подвыпившего агронома отделения, и это доконало его.

— Посадил его к себе в машину, думаю — вместе по агрегатам проедом, а с ним рядом сидеть невозможно, чуть не вывернуло меня. Спрашиваю: «Где ты мог с утра набраться?» Я, говорит, пива только выпил... Потом прибавляет: «Жигулевского». Как будто меня это обрадует! Каждый день одно и то же с утра на уме: как выпить, с кем, где? Наплевать ему на агротехнику, оттого и растет овсюг вместо пшеницы. Что делать? — с безысходным отчаянием выдохнул директор, надеясь, что я могу дать ему какой-нибудь полезный совет. — Ну, ладно, я плохой руководитель, не могу шкуру спустить, но в Коробейниково не лучше. Хуже. Каждый год на два-три центнера меньше нашего с гектара берут. Почему стыда у людей не стало? С глаза на глаз говоришь, щадишь самолюбие, по-человечески хочешь пронять, ничего не выходит. Тащишь на партком — не боится. Самое страшное, что каждый день эта пьяная рвань вступает в сговор с рабочими: вы уж не очень за мною смотрите, а я особенно с вас не буду требовать. В такую круговую поруку втягивает людей, развращает их. Гнать бы надо в шею — нельзя, замены нет. Не гнать — распоясываются совсем.

«Легко теоретизировать, — думал я, слушая директора, — как оживить работу общественных организаций, привлечь к управлению производством Толика Скворцова и его отца, Ивана Васильевича, брата Витю. Но как это исполнить? И хотят ли мужики увеличить свою ответственность?»

Председатель сельсовета Федор Иванович Никифоров позвал съездить с ним выбрать место для погоста центральной усадьбы. Пока кладбище было одно — в Нижне-Озерном, потому что не было уверенности в серьезности завязавшейся в Хомячем Логу жизни. Теперь, после намеченного раздела хозяйства, все у них должно быть свое.

Участок облюбовали на вершине гривы, километрах в полуторах от поселка. Видны отсюда неоглядные поля и синие дальние лога. Место для вечного успокоения призвано пробуждать чувство значительности каждой человеческой судьбы и ее высокого предназначения. Как страшно бывает смотреть на заброшенное сельское кладбище с покосившейся или совсем свалившейся оградой. Такой погост с неопровержимой убедительностью демонстрирует мимолетность и случайность бытия, имевшего какое-то значение только тогда, когда человек пахал или доил корову.

Я не пожелал присутствовать при торгах с подрядившимся городить шабашником. Но председатель, в отличие от меня, не мог себе позволить благородного негодования, хотя живоглот, готовый нажиться и на живых, и на мертвых, заломил за огораживание кладбища немислимую сумму. А деваться некуда, шабашник новой формации пошел: является со своим материалом, у него в руках дефицит, который тут и не снится.

Пока рядящиеся стороны мерили шагами участок, я сошел в лог, чтобы посидеть в тени небольшой рощи из ветел и черемушника. В первые годы целины тут располагался полевой стан. Под высокой пышной ветлой стоял вагончик, в котором жили мои десятиклассники. Да, вот именно здесь все и было: хор кузнециков в знойный полдень бабьего лета, запах только что вымытых полов, девчонки торчали в окошках и глазели, как Юлька Четвертаков, которому дали утром трактор, ездил по стану. Трактор достался ему потрепанный, на коротком своем веку он перевидал много хозяев. За какой-то час милый наш долговязый Юлька перемазался до ушей в солярке и масле, останавливался, выбрасывал сиденье, искал ключи, которые, конечно же, давно раста-

щили. Втискивая сиденье на место, Юлька бормотал: «Ключи — ерунда, это я достану!»

Он мечтал стать моряком, ехать на целину с нами поначалу не собирался, самую идею отвергал в принципе. Всем хотелось, чтоб он поехал вместе с нами. На уговоры Юлька насмешливо и высокомерно бросал: «Рожденный плавать пахать не может!» Однако в конце концов не выдержал и оказался в совхозе. Через несколько дней, после того как он сел на трактор, Юлька отличился на тушении пожара. Горело в ту осень у нас чуть не каждый день. Солому сволокивать было нечем, единственный способ избавиться от нее и иметь возможность пахать зябь — поджечь, что и делалось несмотря на то, что уполномоченным из края был майор-пожарник, грозившийся посадить виновных в поджоге. А пойдти найди виновного, когда на уборку в ту осень прибыло в совхоз в общей сложности более восьмисот человек. Кого только не было у нас! Рабочие из Барнаула, механизаторы с Кубани, из Мордовии, Чувашии...

И в тот день неизвестно кто и где поджег солому, ветром огонь перекинуло на неподобранные валки. Над полыхающим полем зловеще покраснело небо. С центральной усадьбы на машинах прибывали люди. Они оттащивали горящие валки, затапывали огонь ногами и били по горячей стерне стеганками. Нужны были тракторы, чтобы впереди отрезать бороздой путь огню. Но бригадир Максимыч, не рассчитывая справиться с огнем, отослал несколько подошедших на помощь тракторов выводить комбайны из загонок, на которые страшной лавиной шел огонь.

И в это отчаянное мгновение на дороге показался идущий на предельной скорости трактор с плугом. Максимыч, задыхаясь, махая руками, побежал к нему навстречу. Трактор круто развернулся метрах в пятидесяти от огня, из кабины выскочил Юлька, заглубил плуг, снова прыгнул в кабину, дал полный газ и пошел вперед параллельно приближающемуся огненному валу. За плугом оставалась полоска сырой пашни. Через некоторое время подошли тракторы, выведившие с поля комбайны. Когда были отпаханы две широкие заградительные полосы, Юлька отцепил плуг и стал давить гусеницами горящие валки. Он выписывал сумасшедшие восьмерки, останавливался, хлестал стеганкой горящую солому, набившуюся в гусеницы, и снова лез трактором на пламя.

Через полчаса все было кончено. Максимыч с грязным лицом и слезящимися глазами сидел прямо на дороге и пытался свернуть самокрутку. Большие узловатые пальцы не слушались. Юлька, присевший рядом, достал пачку сигарет и протянул ему. Бригадир в сердцах бросил неудавшуюся самокрутку, взял сигарету и виновато сказал:

— Вот так-то бывает, парень!

Уже четверть века прошло с той поры. Такой срок казался всем нам в те времена фантастически долгим, а теперь, назад глядя, думаешь: как быстро годы промелькнули! И с каждым новым годом кажется, что время ускоряет свой бег. Думая о Четвертакове и о Максимыче, исконном озернинском крестьянине, я сказал себе о том, что тайлось с давних времен в сознании. Эта тайная мысль, выговорить словами которую я не решался, состояла в том, что я вроде бы делал одолжение всей этой стороне, согласившись поработать здесь. И не заметил, как она стала мне родной. Мне тем дороже все здесь и значительнее, чем больше открываю всю ее непридуманную, неприкрашенную подлинность.

4 августа. Было районное радиосовещание. Суртаев сказал, что в крае складывается тяжелейшее положение с кормами и фуражом, часть соломы в Пристанском районе будут заготавливать для себя хо-

зяйства из других районов, где выгорело все дочиста. На фураж рассчитывать нечего, надо стараться заготовить семена.

Хозяйственная машина сама по себе не вертится, все держится на волевых импульсах. На них продержались в сенокос, все очень устали, в том числе и директор. Чуть он расслабился, сквозь пальцы посмотрел на то, что и его помощники слегка расслабились, тотчас же все стало разлаживаться в совхозе. Почти прекратился ремонт техники, упала дисциплина. Многие неделями не появлялись на работе, занятые заготовкой сена своим коровам. Теперь надо прилагать огромные усилия, чтобы вернуть хозяйство к более или менее нормальному состоянию.

В давние целинные времена редкая неделя обходилась без поездки в район, и эту сорокакилометровую дорогу я помню во всех подробностях. Она разнообразна и красива — идет сначала по высокому берегу Оби, откуда видны заобские дали, огражденные темными борами, и там всегда хотелось побывать, но так и не успел. Все откладывал, поездка туда представлялась непозволительной роскошью, как и желание остановиться здесь, на высоком берегу, постоять, полюбоваться, впитать глазами, запомнить эти дали. Всегда мы опаздывали, торопились. За все годы не помнится поры, когда бы не угнетали, не обременяли заботы, чтобы можно было со спокойной совестью постоять и побродить здесь.

Всегда дорога трудной была. Зимой — это сутки частенько, осенью в распутицу и совсем трудно, а летом, когда хотелось остановиться перед пшеничным неоглядным полем, тревога мешала: а как его убирать будем, не пустить бы под снег! И радость отодвигалась на будущее.

Тогда лишь краем глаза можно было даже не увидеть, а скорее почувствовать очарование небольшой тополевой рощицы в Беспалове, которую проезжали в конце марта, когда темнел на Чарыше лед, а молодые зеленые ветви тополей будто светились изнутри. Их красота была для меня запретной, задерживаться было некогда, чтоб впитать ее в себя, и я жил надеждой, что когда-нибудь наверстаю упущенное.

Весной, когда кончили уже сеять, оказался я с директором у Кудрихи. Мы ехали у берега, и я смотрел не на поля, а вглядывался в оставшуюся нераспаханной узкую травяную полосу вдоль обмельчавшей речушки. Где-то здесь лежал я однажды на траве, подложив руки под голову, смотрел в небо. Там трепетал жаворонок. Шофер решил вымыть машину в речке, и мне хотелось, чтобы он повозился подольше. Да, это рядом с бригадой было. Бригаду давно упразднили, но место, где она была, угадать можно по остаткам фундамента бригадного дома, в котором не раз приходилось ночевать. И я услышал въяве надтреснутый голос Максимыча, здешнего бригадира, и запах сырой пашни, ощутил озноб, какой всегда вызывал во мне непонятный одинокий огонек, зажегшийся в горах, затянутых вечерней мглой. А на кухне при тусклом свете керосиновой лампы ужинают трактористы, отправляющиеся в ночную смену. Среди них и милые мои десятиклассники.

В жалкой нераспаханной полосе кое-где видны яркие желтые цветы, которые зовут здесь жарками. Мало их остается, а прежде от них горели поляны. Для меня оставшаяся зеленая полоса — это потесненная красота. Распаханная до предела земля, оскудевшая на красоту и не радующая сердце, и кормит плохо, оказывается. За тридцать лет лишь однажды, в особо удачный год, удалось взять двадцать с небольшим центнеров хлеба.

Сейчас только что отбыли с подворья мои хозяева — молодой пасечник, жена его и теща. Явились они для сбора яблок. Я сам хотел сходить к ним и позвать: после дождя яблоки стали трескаться, пере-

спели. Однако я не обрадовался приезду хозяев. Их громкие, зычные голоса так раздражали, что я включил погромче приемник.

Вспомнил разговор с трактористом, грозившимся сорвать крышу со своего дома с помощью стогомета. Ходит он уже несколько лет в контору, просит перекрыть кровлю. Строили дом лет десять назад, экономии ради крыли шифером без обрешетки и толя. Во многих местах появились трещины, надо перекрывать, как и многие другие дома.

Пришел он в партком к Романычу. Романыч:

— Я этими вопросами не занимаюсь, иди в рабочий комитет.

Председатель рабочего комитета Байрак:

— Я что могу сделать? Давай иди к Полоскину.

Всесильный зам:

— А чего ты ко мне пришел? Я достаю материалы, а куда и как их девать — не мой вопрос.

— Чей же это вопрос?

Я объяснил парню, что с шифером плохо, по фундам он почти не поступает, половину новостроек этого года нечем покрыть, так что надежд на то, что в этом году перекроют его дом, который комиссия из года в год признает аварийным и нуждающимся в ремонте, нет. Я ждал взрыва возмущения, приготовился спорить, оправдывать администрацию. Однако никакой бури не было, парень воспринял мои слова спокойно, вроде бы даже с некоторым удовлетворением: хорошо, что подтвердили, что думал правильно, есть непреодолимые объективные обстоятельства, препятствующие ремонту.

Разумеется, польет дождь, он не будет спокойно подставлять копыта и тазы, крепче крепкого вспомнит, как пять лет обещают перекрыть крышу. Но тем не менее ему приятнее, если говорят прямо, что можно и чего нельзя, а не морочат голову.

Центральную усадьбу, ее официальных представителей не любят именно за привычку морочить голову, давать неопределенные обещания, за волокиту, за привычку считать живущих тут недоумками. И мне достается по первому разряду именно за то, что видят во мне яростного приверженца центральной усадьбы и человека, многократно проявлявшего инициативу в ее пользу. А чего мне на это обижаться? Так оно и есть. Если б я прежде хоть месяц пожил в Озерном и почувствовал накал страстей вокруг детского садика, наверное, посоветовал бы потерпеть со спортивным залом на центральной в пользу пристройки к детсаду в Озерном.

Угощались арбузами у меня вчера Симонов, второй секретарь райкома партии, и Юра Сорокин, секретарь райкома комсомола.

Заговорили о том, что тут на огородах сейчас зреет: роскошные помидоры всех сортов, красные и желтые, картошка, огурцы, арбузы и дыни, перец, фасоль — все-все растет, земля богатая, солнца вдоволь. Благословенная земля!

Какие были умные и дальновидные мужики, которые выбирали место для здешнего поселения: красиво вокруг и привольно, с одной стороны — пашня и толоки, выпаса, поднимающиеся постепенно к горам, с другой — луга, Чарышская и Обская поймы с травами, озерами, протоками среди камышей, аира и осоки, сети весной в огородах ставили.

А для центральной усадьбы намного хуже приглядели место. Выбирали по карте люди, которые вовсе тут не собирались жить, им было совершенно безразлично, что будет и как в Хомячем Логу.

День жаркий. После дождей опять все пошло в рост. Луг зеленый, в огородах еще доцветают подсолнухи, картошка и не думает желтеть,

следов засухи в деревне не видно. И в полях хлеб вроде бы поднялся, «очапкался», как здесь говорят, и кукуруза лучше, чем во все последние годы, в человеческий рост уже, выбросила метелку. Но хлеб изрежен, колос маленький, вряд ли наберется вкруг по десять центнеров. Мне тут меньше месяца осталось, а начинаю привыкать к селу, многие люди кажутся симпатичными, с центральной усадьбы, когда там бываю, стараюсь тотчас же убраться восвояси.

Аксенов хорошо один случай пересказывает: «Застал часа в два почти Савчинский на току мужика, но тот все-таки успел мешок в бурьян спрятать. Директор спрашивает его, все понимая: «Ты чего тут, Иван, бродишь посреди ночи?»

— Корова не пришла вечером, Владимир Макарович, ишу вот, боюсь, как бы на ток, проклятая, не зашла — объестся!

— Ну и что — нашел свою корову?

— Да вон она, разъязви ее совсем! — показал мужик наугад в темноту. Там и в самом деле паслась в бурьянах чья-то корова.

— Ну, ладно, хорошо, что нашел, — сказал директор и поехал домой к Ивану. Стучит палкой в окно, жена выглянула:

— Это вы, Владимир Макарович?

— Ты чего, Марья, за коровой не смотришь, на ток корова твоя зашла.

— Какая корова? Что ж, вы не знаете, что нет у нас коровы?

— Не было коровы, а теперь будет: Иван уже гонит, готовься встречать!»

Аксенов после этого, переданного в лицах, диалога, прибавляет: «Он и в самом деле знал, у кого какая корова и сколько она дает молока. А о том, какая у человека семья, сколько детей и какие обстоятельства в семейной жизни — и говорить уж нечего».

Это нынешний директор совхоза, который проработал директором уже пятнадцать лет, говорит. Говорит с завистью — в похвалу своему предшественнику, признавая его неоспоримое преимущество над собой. Сам он тоже людей знает, как не знать ему — в совхозе с первого дня основания хозяйства, более четверти века уже. Тут хочешь не хочешь, а узнаешь, когда бок о бок столько проживешь.

Явился из бани от Ананьина. Долго стоял у него во дворе и глядел на луг — темные гряды ближних и дальних рощ, стога, густо поставленные в этом году, серп луны сквозь редкие облака. Ничего подобного нет на центральной усадьбе, где только за садом узенькая щель в степь. А так — гривы кругом, в них упираешься глазом. Точно говорят: в яме поставили центральную усадьбу.

Утро 9 августа. Небо совершенно чистое, тумана не было на расвете, на траве сизая роса. Ходил за водой, на поляне перед оградой осталась темная дорожка после меня. Зелень буйная, кажется, что все растет, торопливо наверстывая упущенное в июне и июле, когда не было дождей.

Чувствовали ли красоту этого уголка земли те, кто положил тут начало селению и чувствуют ли те, кто тут сегодня живет?

С огорода шла в дом Жмаева. Когда-то она была здесь директором школы. Говорю ей:

— Не могу наглядеться и думаю: а всем вам некогда и посмотреть вокруг себя, все дела да дела. Вы видите, какая тут красота?

— Если бы я не видела, я бы не приезжала сюда из Барнаула на все лето. Воздух-то какой здесь...

Наверное, если б люди совершенно не чувствовали красоты луга, его безбрежности, то совсем бы оскудело на жителей село. А оно стоит, живет, радуется, надеется и рождает. Хотя все твердят, что разбегается молодежь. В прошлом году появилось здесь 22 младенца.

11 августа. Стоит жара, как месяц назад. Но тогда луг был желтый, с хрустящей под ногами травой, теперь же все зелено. Только по утрам в пронзительной свежести чувствуется приближение осени.

Был на совещании у директора. Говорилось, что хлеб подошел уже на трех тысячах гектаров, однако в уборку совхоз никак не может включиться.

На гриве, что против поселка, несколько комбайнов косят невысокую желтую пшеницу. Пока мы заседали насчет уборочной, она уже началась.

Весь день ушел на пробивание проектов по ремонту клуба и реконструкции мемориала в Нижне-Озерном. У всесильного зама выпросил для потолка и панелей красивый декоративный картон, о существовании которого услышал совершенно случайно. Полоскин выписал дефицитный материал безропотно, пораженный тем, что я откуда-то узнал о тайном и неприкосновенном запасе.

Прораб Ананьин, мой озернинский сосед, наконец-то выделил на клуб четырех плотников. Сделать это ему было нелегко, потому что насаждает на него директор с ремонтом скотных дворов, а лишнего человека ни одного в его распоряжении нет.

Плотники, вчера еще трудившиеся на ферме, безо всякого энтузиазма восприняли свое перемещение на объект культуры. Первый мой разговор с ними оставил чувство горечи. На мои слова, что с их помощью дело пойдет быстрее, ремонт клуба резко ускорится, кто-то из них проворчал с непреклонной убежденностью:

— Развалить его надо, а не латать!

У мужиков, оказывается, нет интереса сделать все, что от них тут требуется, поскорее. Что тут они заработают, неизвестно. Наряд будет выписан по окончании ремонта. А на каждом шагу какое-нибудь препятствие. Сложенный штабелем тес лежит у сельсовета. Его лет пять или шесть назад заготовил председатель Федор Иванович. Мечтал он тогда обшить сельсовет снаружи и покрасить его, но что-то помешало исполнить этот план. Часть теса уже сгнила, ветрами в штабеле нанесло земли. Стали плотники сортировать доски, поднялось черное облако пыли. Слышу отчетливый ропот, в корне осуждающий затею с ремонтом клуба. Кому он, дескать, нужен, когда у всех телевизоры дома?

Отобранные тесины надо перевезти в столярку и обработать там на станке, к которому пробиться не так-то просто. В селе работают пять наемных бригад. Простоя у них быть не должно, это слишком дорого обойдется совхозу. Заказы приезжих строителей выполняются в первую очередь. Мои озернинские плотники часами высиживают в столярке, чтобы хоть урывками заготовлять тес на рабочий день. Мастер о клубе не желает и слышать. С него спрашивают за вводные объекты. А клуб ни в каком плане не значит. Когда наконец обработанный тес подвезен к клубу, обнаруживается, что во всем совхозе кончились гвозди. И когда будут — никому не известно. По наряду с начала года получили всего полтонны гвоздей, а уже издержали пятнадцать тонн, добытых бог знает где и как. Всесильный в отъезде, в Омской области, должен достать, с пустыми руками он никогда не возвращается. Но на сегодняшний день гвоздей нет. Мужики сидят на клубном крыльце и осуждают порядки в стройбригаде, потом в совхозе. С особой страстью осуждаются шабашники. Я пытаюсь вступить за них. Работают они дружно и хорошо, не считаясь со временем, стараются как можно скорей сдать каждый свой объект. На эти мои соображения озернинские плотники отвечали, возражая мне, что на таких условиях и они бы не хуже сработали, а вот шабашники встать на их место ни за что не согласятся.

Я подумал, что и в самом деле, надо удивляться не их мнимой нерадливости, а удивительной покладистости, с какой они соглашаются

сегодня рыть фундамент под кинопудку, завтра обшивать тесом клуб. А что послезавтра им предстоит делать, не знает пока никто.

Сейчас неразрешимая проблема — гравий. Нет машин. Сегодня прорабу не досталось ни одной. Нет и цемента. А будет, возникнет вопрос, на чем его к клубу доставлять.

Нужны железные нервы, чтобы вынести все это. Ленивый из ленивых — заведующий клубом, получающий столько же, сколько получает молодой инженер после института, две недели не может приколотить два квадратных метра дранки.

Это — с одной стороны. С другой — пример главного инженера, соорудившего новую заправочную станцию. Вчера я был совершенно поражен, обнаружив, что заправка обнесена узорной чугунной решеткой, на которую я так зарился, предвкушая обнести ею дендрарий. Инженер не признает половинчатости, делать так делать, по самым лучшим образцам!

Вечером зашли Коля Танашкин и Сергей Скорых, очень похожие и внешне и внутренне — сухощавые, длинноносые, серьезные.

Сережка сказал:

— Мы не живем — существуем! Работа неинтересная, все время на подхвате, все тяжелое, грязное, будку кирпичную, например, разбирать. Кого сюда пошлешь, кроме нас? Девчонок нет, в клубе скучно и противно. Заработки случайные, больше ста пятидесяти не пришлось заработать ни разу.

Прежде мне казалось, что люди в Озерном менее развиты, чем на центральной усадьбе, более равнодушны к общим делам, не такие культурные. Я был уверен, что тут не любят цветов, но на поверку оказалось, что практически нет тут двора без них. На центральной у главного зоотехника, например, весь палисадник картошкой засажен, для цветка квадратного метра не нашлось. А здесь, сомневаюсь, можно ли найти без цветов хотя бы одну усадьбу, если мою не брать в расчет.

Ни разу никто в центре из молодежи не показывал мне своих стихов. Тут же совершенная неожиданность: Николай Танашкин, собиравшийся поступать на строительное отделение политехнического института, принес мне блокнот со своими стихами, вот несколько строчек оттуда:

«А на Алтае все в цветы одето,
В весеннем хороводе вся земля...»
«Люблю людей душевных и простых...»

Меня искренне раздражила горячность молодой женщины в столовой, когда она набросилась на меня с упреками, что Озерное забыто, что все средства направляются на развитие центральной усадьбы. В чем она не права? Права во всем, может быть, она только не представляет того, в какой мере я лично виноват в таком перекосе. Но ее убежденность, в общем-то прекрасна. Разве равнодушные лучше?

Я вывел на второй день пребывания здесь: село единоличное. Технику все — и шофера, и трактористы — захватили в личную собственность, ставят у домов и используют по своему усмотрению. Но куда деваться-то с совхозной техникой? Гаража и мастерской тут нет, машинного двора практически тоже, если не считать таковым неохраемое никем место. Поставь сюда трактор — утром его нельзя будет завести: раскурочат, а потом покупай запчасти у спекулянтов за свои деньги. Обеспечение запчастями тракторов и автомобилей тут же налажено, поэтому и ставят дома.

А отвратительная организация труда? Почему у тракториста вдруг ни с того ни с сего только восемнадцать выходов на работу в месяц?

Прогульщик — с ходу клеймим мы его. А он-то, как на поверку выходит, и ни при чем: то дождь, то буран, то неисправность и простой из-за отсутствия запчастей. И вот он сидит дома за свой счет, за счет своего огорода и собственной коровы. Чего мы на него в таком случае обижаемся за самозахват во время сенокоса. Кто должен организовать дело? Конечно же, не он, а руководители. Прежде всего директор совхоза и председатель сельсовета. Отчего же не собрали людей на сход, не посоветовались с ними, как лучше дело организовать? Сами семи пядей во лбу? А на малейшую критику обижаемся кровно и надолго. На конференции в райцентре тихо все и гладко, отмечаются лишь отдельные недостатки, общих проблем, тормозящих развитие района, привыкли не касаться.

Кто осмелится в совхозе критиковать директора, например? В какой форме это делается?

Критикуют иносказательно, прямо никто не обращает упреков лично к Федору Андреевичу, во всяком случае, как правило. Исключением является Андрей Константинович Шеньшин, который специализируется на лобовой критике, начиная свои выступления так: «Рыба с головы вонять начинает...»

В директоре такого рода начало выступления вызывает приступ раздражения и негодования своей отвратительной натуралистической грубостью и бестактностью. Разумеется, Аксенов отдает себе отчет в том, что у него есть недостатки, промахи, упущения, но ведь он в общем-то старается, хочет сделать как лучше. Однако ведь не все от него зависит. Многие вопросы директор не может решить, целая обойма недостатков в работе совхоза как бы запрограммирована извне — общим механизмом хозяйствования. И нет ничего обиднее, как представить его человеком, который едва ли не сознательно вредит совхозу.

И как ни хочет директор взять себя в руки, как ни уговаривает себя не принимать во внимание тона критикующего, не может заглянуть в душе обиду: разве ж он не человек тоже? Не хочет Федор Андреевич ни мстить, ни быть хоть в малейшей степени недоброжелательным, но сам голос Андрея Константиновича заставляет его теперь вздрагивать.

То же слово, да не так бы молвлено, как Пушкин писал. Но чтоб научиться как следует пользоваться этим средством для улучшения дел, нужна серьезная практика. А ее нет.

А как нужна настоящая критика! Как нужны добрые намерения, объективность, независимость в тех, кто отваживается на такое выступление. Теперь же все прекрасно понимают, что Шеньшин действует по принципу: лучший вид обороны — наступление. Авторитета у него как у мастера нет, знают о нем все, что он не критик, а критикан.

Как всегда, пугает, что практическое осуществление идеалов наших идет не само по себе, что на практике все сложнее, труднее, чем представлялось нам. Тут мы, бывает, готовы в истерику кинуться. Можно или невозможно хорошо отладить совхозный механизм, соединить интересы работника, коллектива и общества в целом? Иногда директор готов в отчаянии закричать: нет, не выходит ничего, не получается. Но потом опомнится, остынет — нет, все-таки вперед двинемся, подвигаемся, хотя и намного медленнее, чем хочется.

И я всегда в последние годы уезжаю отсюда не с горьким осадком на сердце, не с чувством безнадежности, а напротив — с верой в жизнь и людей. Надо приучать себя безбоязненно смотреть правде в лицо, не страшиться ее никогда.

Откуда ни возмись — дождь. Давно ли как классическую музыку слушал, как он барабанит ночью по крыше. А сейчас ливень, совсем летний, пополам с солнцем, лупит по кровельному железу. Несколько

минут прошло, и над лугом сияет солнце, стадо пасется, коровы никакого внимания на дождь не обратили.

Дышать сразу легче стало. Я сидел и печатал на крыльце, но когда начался ливень, схватил машинку и унес ее в спальню, сел за стол у окна — это самое мое любимое место, отсюда я люблю луг и не могу наглядеться на него.

По утрам дальние стога тонут в густом тумане. Жаркое лето стало длиннее обычного, у луга два сезона нынче.

Хлеб поспел, а уборка все никак не может всерьез развернуться — нет ни у кого настроения убирать. Когда хороший хлеб стоит, у всех приподнятое состояние, начинать гораздо легче, а теперь дело никак не разгорается.

Поздно ночью, в первом часу, тушу свет и сижу у окна. Сейчас полнолуние. Ближе виден журавль над колодцем в огороде у соседей, дальше луг, на нем темнеют купы деревьев, он полон жизни и тайны.

В воскресенье утром неожиданно приехал Куфаев, сам за рулем. Захотелось Александру Алексеевичу посмотреть коробейниковские поля и выпаса. Директора в селе не оказалось, уехал Карл Карлович Феллер в бор за лесом. На стройдворе уже пусто. Из специалистов нашли только зоотехника. Мы с Куфаевым ждали его у калитки, а он приближался к нам от дома, и я вдруг увидел, что у совсем еще молодого человека пузцо колыхается, как опара, под рубашкой. Его походка, обиженное лицо выражали явное неудовольствие и даже протест. Сам, мол, не умеет нормально отдыхать, председатель райисполкома, и других не оставляет в покое даже в воскресный день. И мне показалось, что я понял в эту минуту, отчего никак не улучшаются дела на коробейниковских фермах.

На следующий день в девять часов отправился к клубу, ребята должны были приступить к окраске, а каменщики к кладке новой кинобудки.

Хотел зайти к киномеханику, но раздумал. Сам тогда не мог понять, отчего все во мне противилось, а теперь, кажется, могу сформулировать: хоть он и хворает, но все же мог бы поинтересоваться, что там с кинобудкой, такую ли ее делают, как ему хочется. Явилось подозрение, что он нарочно не идет посмотреть, чтоб потом иметь возможность закапризничать — не так, дескать, все сделали!

В начале десятого утра у клуба был лишь один каменщик, ворчавший, что никого нет из подсобников. Вчера только в одиннадцатом часу явились плотники, в четыре они уже работу бросили и сидели на крыльце, осуждая порядок на стройке.

К сельсовету подъехал на красных своих «Жигулях» председатель. Из машины, помимо хозяина, выгрузились трое парней: Скорых Славка, Скорых Сергей и Николай Танашкин. Федор Иванович торжественно вытащил из машины пару громадных валиков на длинных державках, которыми когда-то красили крышу в школе. Эти малярные принадлежности давно уже для дела были непригодны, потому что краска на них засохла, превратившись в камень. Диву лишь можно было даваться — для чего привез эти орудия труда Никифоров, пожилой человек, через два года отправляющийся на пенсию, проживший всю жизнь в деревне, сам построивший себе дом. Одним словом, прекрасно видел Федор Иванович, что ничего не сделаешь этими валиками в клубе. Тут прежде всего предстояло красить высоко над землей фронтоны, ветровые доски, или косынки, как их тут называют. Только кистью можно орудовать на такой высоте.

Начались пререкания. Сережка Скорых заявил, что красить не пойдет до тех пор, пока не выдадут на руки наряд на весь объем предстоящих работ:

— Месяц работал в клубе, бетон месил, а получил пятьдесят рублей всего-навсего.

Остальные — Николай и Славка — помалкивали, мне почудилось даже, что поэт мучительно переживает поведение своего лучшего друга, что ему стыдно за Сергея.

Я, отойдя в сторону с председателем, выговаривал ему: был в Барнауле и Усть-Пристани несколько раз, знал, что понадобятся кисти, и не купил. Он оправдывался тем, что в магазинах нигде не было кистей. Я не унимался:

— Изготовить свои можно было уже сто раз, лошади есть, отхватили гривы, зажали жезью, вот тебе и кисть!

Шли препирательства, Федор Иванович упавшим голосом спрашивал: нет ли у кого-нибудь старой шапки из цигейки, чтоб употребить мех для обновления валиков. Никто не назывался с шапкой, а время шло уже к обеду. Вот так бестолково организована здесь вся работа, и это изо дня в день. Конечно же, страдают в первую голову сами рядовые работники.

Я развернулся и пошел домой с возмущением. Я отчаялся, показалось мне в эту минуту, что ничего с клубом не получится, ремонт сдвинуть с места невозможно, разозлился особенно на завклубом, который являет собой образец лени, родившейся прежде его самого. Обрюзгший в свои восемнадцать лет парень, за что бы ни взялся, через пять минут бросает, садится и смотрит, что другие делают. Такие работники с удовольствием не ходят на службу, ждут не дождутся шести часов вечера, чтобы отправиться на рыбалку и по своим делам. Восемь часов пробыть на работе для них каторга каторжная. Дела своего они не любят, делают его без души, зато занимаются с удовольствием тем, что лично для них пойдет. Развращенность иждивенчеством превеликая. Все это — результат бесконтрольности, неподотчетности, взаимной нетребовательности, круговой поруки. Такие работники все стараются свалить на директора: пусть он требует строже, пусть наведет порядок.

Часа через полтора явился я снова, договорился с киномехаником, что он сделает кисти из конского волоса. Все это и без меня две недели назад в предвидении покраски должны были сделать.

Песок, который вчера пообещал подвезти утром к обелиску прораб, так и не привезли до полудня, труб на центральной тоже не забрали, чтоб сделать из них столбики для чугунной решетки. Все не кленлось и не ладилось.

А у инженера все идет как по маслу. Он с отвращением слушал нас с директором, когда стали мы просить его огородить решеткой мемориал в Нижне-Озерном. Как он у себя дело поставил? Почему ему удалось без осложнений и мучительных усилий сделать свою образцовую заправку?

Секрет в том, что его люди знают, сколько они должны получить за свою работу, им выписывается аккордный наряд, они стараются сделать все как можно быстрее и качественнее. Своим работникам мы все время срезаем и урезаем. Тут кто кого: рабочие стараются поскорей и похалтурней сделать свое дело. За ними постоянно нужен глаз да глаз, чуть отошел — сделают кое-как. Мастер же и прораб стараются за их счет, за счет своих, что-то сэкономить и свести концы с концами при переплате наемным бригадам.

Инженер предпочитает простые и ясные трудовые взаимоотношения. Ездить по бригадам, «работать с людьми» для него мука мученическая.

21 августа. Собрался на центральную усадьбу на районное радиосовещание, поджидаю Ананьина, посматриваю в окно на его «Москвич» с «шиньоном». На лугу негустой туман, стога видны, и небо чистое, по

радио обещали на Алтае жаркий день с грозовыми дождями местного значения. Погода для уборки стоит — лучше и желать нельзя, однако уборка никак не может войти в силу. Главный агроном вчера говорил, что вся беда в нехватке жаток, подбирать есть чем, а косить не успевают. Так не было в прошлые годы. Боюсь, что главная беда все-таки в том, что ни у кого нет должного настроения. Тяжело и с оплатой труда. Есть льготы на уборку изреженных участков, но комбайнеров заставляют свозить солому в одно место, на этом мужики теряют время, уменьшается их заработок. Повысили оплату тут — но тогда они никак не управятся с сезонной нормой на обмолоте зерна. Подборщики стоят, машины используются пока слабо, все развинчиваются. Такая — специально для уборки — погода все время продолжаться не может, пойдут дожди, и хлеб можно потерять, как это уже однажды случилось — в засушливый 1974 год.

Вчера был директор, ели на крыльце арбуз с моего огорода: красный с черными созревшими косточками.

Отправились с Федором Андреевичем по бригадам посмотреть, что где делается. Точной информации у нас нет. Да и как будешь иметь оперативную информацию при таком размахе хозяйства? Две деревни, в которых живут две тысячи человек, из них восемьсот работают в совхозе, а пятьсот пенсионеров просят помочь им жить. Сотня тракторов, восемьдесят комбайнов, больше сотни автомашин. Строительство идет на двух десятках объектов, весь стройматериал кончается: лес, шифер, цемент. Все с возу, как говорится, что подвезли, то и в дело идет немедленно, на строительстве работают около десяти бригад.

Над степью марево, знойные, как в июле, стоят дни. На токах желтые и светло-песочного цвета хлебные бунты.

Комбайны на полях то идут, то стоят в ожидании электросварки, то в ожидании разгрузки с полными бункерами.

Уборка стала входить в силу, начали молотить, есть поля, дающие больше десяти центнеров, хотя в целом по совхозу намолот чуть больше семи. Лучшие поля пока убирать не начинали, там должно быть и по пятнадцать. А зерно литое, раскусить его невозможно, оно — как дробь.

Неожиданная вымахала и кукуруза, такой не было уже много лет. На третьем отделении — лес, а не кукуруза. Сразу произошел конфуз: построили бетонированную яму для силоса, вбухали в нее полтора вагона цемента, а в уборку поработали несколько дней, а яма полнополнехонька, между тем скошена всего пятая или шестая часть площади.

Работа идет весело, непрерывно подъезжает то машина, то трактор с тележкой, везут и везут кукурузную зеленую сечку. Кукурузу трамбуют в траншеях, ползают взад и вперед бульдозеры, едва успевают, каждые пять минут подвозят еще и еще.

На стройдворе центральной усадьбы разгружаются три КамАЗа — полсотни кубометров леса привезли из Чеканихи, а как он нужен! Несколько домов стоят без полов и стропил, доски на лопасти мотовила не найдешь на стройдворах!

Пары хорошие, черные.

На второй бригаде подошел я к Сергею Васильевичу Хапкову, Сергею, как его многие зовут. Хотел его спросить, привезли ли ему новую коробку для комбайна. Как-то, недели две назад, мы подошли к нему на бригаде, и он среди прочего говорит:

— Вот мне интересно — смогу я работать с новой коробкой? Со старой работаю восьмой год на этом комбайне, а охота попробовать — как с новой? Иногда зло начинает разбирать — кому есть новая, а мне так никогда нету.

У меня давно чувство симпатии к этому мужику. Я попросил Федора Андреевича достать ему новую коробку, тем более, что у инженера есть в запасе две штуки.

Сейчас Сергей Васильевич торопливо ремонтировал свою жатку. Новую коробку он получил. Заметил, увидев меня, что он хоть и простоял вчера, но все-таки норму выполнил, скосил двадцать один гектар. Это к тому, что он очень ценит внимание к себе, которое и тем выразилось, что многие люди — директор, главный инженер, механик отделения — запомнили его просьбу о коробке и постарались ее выполнить.

Обедали с директором в бригадной столовой. Повар хорошо готовит на второй бригаде. Аксенов сидел, зажатый с двух сторон механизаторами. Он съел первое и второе, похвалил, потом с кружкой приятного холодного компота доел оставшийся кусок хлеба, смущенно улыбнулся, как бы извиняясь:

— И до войны досыта хлеба никогда не наедался, и после войны года четыре еще голодовали, с тех пор привык все доедать.

Мне тоже хорошо было сидеть среди мужиков. Щи вкусные — из всего свежего, бульон крепкий, душистый, котлету повар кладет вместе с гуляшом, как и всем рабочим, еле все одолел.

А тут явился Хапков, просит:

— Вы мне пару котлет заверните, некогда мне, сухим пайком давайте!

Директор кричит:

— Серега, давай щей похлебай, чего ты на сухом пайке поедешь!

Хапков будто с цепи сорвался, такое впечатление, что ему больше всех покоя не дает неубранный хлеб. Он хоть чем-то хочет отблагодарить за новую коробку.

Замечательная интонация у Федора Андреевича, семейственная. Все тут товарищи, он среди них старший, на нем больше ответственности, но как было бы несправедливо сказать, что они тут ничего не значат со своим мнением о делах, что они — просто в найме у этого старшего, который как хочет, так и вертит ими. Ничего нет дальше от правды, чем такое утверждение. Другое дело — все ли они хотят значить побольше, потому что так просто рот не откроешь со своим мнением: сейчас же — а сам каков, как стараешься, для вида или на самом деле, как Николай Баранов, например, ломишь за двоих?

Кто ж мимо ушей мнение отличного механизатора Николая Баранова осмелится пропустить? Директор первый не осмелится, но вся беда в том, что и по скромности своей, и по настоящей занятости помалкивает больше Баранов. Не знаю, был ли он когда-нибудь вообще в директорском кабинете. Я, по крайней мере, ни разу не видел его там — и в то время даже, когда дом ему ремонтировали и оставили неподшитым потолок, можно сказать, бросили ремонт посреди дела.

Снова едем с Федором Андреевичем от бригады к бригаде. Обращаем внимание, что ячмень низкорослый, совсем ничего, считали, не даст, но все же восемь с половиной, а впереди поле получше.

Степь оцепенела от зноя, то там, то здесь пыльные столбы — катится с огромными телегами, в которых горой кукурузная сечка, желтый «Кировец», за ним кучевым облаком пыль.

У переезда через Кудриху стоит комбайн, над ним на высокой палке флаг — простаивает с зерном, не хватает машин.

Хлеб все-таки получше, чем надеялись в июле, подтянулся он после дождей, собрался, как говорит директор.

Но какая будет дальше погода, даст ли убрать?

На обратном пути проезжали в Нижне-Озерном через центр. У сельсовета трудятся старики-пенсионеры, которых организовал председатель. Они прокладывают из плах, оставшихся после разборки амбара, тротуар к продовольственному магазину. На центральной усадь-

бе об этом еще и не мечтают, а в Озерном будет первый тротуар. Сам Федор Иванович активно участвует в работе: вбивает колышки и натягивает шпагат.

Все собиравшись с духом сказать Аксенову, чтоб не обидел комсомольцев, работавших на воскреснике по разборке амбара. Присмотрели озернинские парни хорошую аппаратуру для обновляемого клуба. Однако, когда я сейчас заговорил об этом с Федором Андреевичем, оказалось, что наряд он давно подписал, деньги на покупку ребята уже получили.

Клуб почти готов. Он стоит на пригорке и выглядит нарядно. Фасад обшит тесом и покрашен. На одно окно прибили наличники — для пробы, посмотреть, как выходит. Они медового оттенка, видны издалека.

Зашли с директором внутрь. В фойе тоже все сделано, вышло гораздо лучше, чем можно было надеяться. Главный инженер все-таки прислал бригаду своих мастеров, за полдня они установили вокруг мемориала литую чугунную решетку, которую Полоскин привез откуда-то с Урала.

— Ну, теперь можно Озерное отделять, — усмеялся Аксенов. — Пятилетку этот клуб еще послужит, а там новый сами построят.

На столе — лист из тетради со стихами Николая Танашкина:

Нет, я тот же сын лугов...

Эта строчка смущала меня, казалась надуманной, вычурной, не своей. Теперь я спокойно взглянул на нее: она навеяна чьими-то стихами, но ее вызвало к жизни неподдельное чувство — привязанность к этой луговой стороне, где весной все залито водой от края до края, а летом — это безбрежное ярко-зеленое пространство, на котором в конце июля начинают весело расти желтые стога. Знаю, что теперь и я остро буду воспринимать разлуку с этой землей.

Утро, поджидаю Дмитрия Петровича Черных, с ним договорились ехать к парому за шиповником.

Вечером решил посмотреть, что с домом у Сашки, сына Дмитрия Петровича. Старший брат Сашки, Анатолий, опять привязался ко мне с центральной усадьбой: все было «по пути», когда б в свое время перенесли центр совхоза «Краснодарский» в Нижне-Озерное.

Тут кто-то пускает слух, что-де на Сашкин дом зарится будущий директор Озернинского совхоза. Боясь такого исхода, все поторапливаются с отделкой: если войдут, кто их тогда тронет? Я подозреваю, что это прораб Ананьин накаляет страсти, чтобы стимулировать ускорение строительства.

В Усть-Чарышскую Пристань, председателю райисполкома А. А. Куфаеву: «Александр Алексеевич, я надоел тебе своими посланиями, но мне не с кем поговорить и поделиться увиденным. Тут один мой кот слушает меня терпеливо.

Вчера утром чуть удар меня не хватил от расстройства. Представь себе степень моего огорчения. Договорился я с местным художником, обхаживая его две недели, что он возьмется расписать новые наличники и портал для клуба. Аксенов пообещал не обидеть его оплатой. Нашел я и материал, десяток отличных сухих плах. У мемориала была трибуна, а в связи с начавшейся реконструкцией ее разобрали. Третьего дня с трудом нашел транспорт, и плахи перевезли на стройдвор в столярку, чтобы их там обработали. Самолично я проследил, как все занесли в столярную мастерскую и сложили возле строгального стан-

ка. А вчера явился в обед узнать, выполнен ли мой заказ, а мне говорят, что плах нет, ночью украли. Как украли?! Столярка запирается на ночь, сторож охраняет весь стройдвор. Под мышкой плахи не унесешь, нужна машина или подвода. Мастер разводит руками. Сгоряча я наговорил ему черт знает чего и бросился пешком в Коробейниково, так мне стало противно в Нижне-Озерном. Пока шел лугом два километра, разделяющие села, поостыл. Думал, как теперь покажусь на стройдворе. А деваться некуда, надо доводить дело с клубом до конца».

24 августа. Остается мне тут быть десять дней всего-навсего, время стремительно летит, никогда я с такой болью не расставался с этой стороной как теперь.

Хочется съездить на центральную усадьбу, опять залезть на леса строящегося спортзала и смотреть, как работают гуцулы, как они кладут кирпич за кирпичом, и стена помаленьку растет, неуклонно поднимается вверх. Зал получается просторный. Хоть в волейбол, хоть в баскетбол тут хорошо будет ребятам играть.

Погожий опять занимается день. На лугу в солнечной мгле густо стоят желтовато-серые стога, рождая чувство защищенности и уверенности перед надвигающейся холодной и долгой зимой.

Подсолнухи с шершавыми листьями уже отцвели, склонили тяжелые свои головы, есть корзинки огромные, едва не с таз величиной. Пошел вчера накопать картошки, вытащил один куст — клубни громадные, никогда таких не приходилось выкапывать. Это тоже радует.

Мой сосед Витя Капишников явился вчера с поля в половине первого, ходил по двору, возбужденно о чем-то говорил с матерью — Анной Павловной. Видно, подбирали допоздна. Утром вижу — собирается с приятелем своим Сергеем Борзенко, который тут на каникулах, учится же на ветеринарном факультете. Окликнул Витьку:

— Как тебе, Вить, поработалось вчера?

— Нормально...

— Сколько намолотил?

— Двести восемьдесят.

— О, это очень хорошо по нынешнему году! Подбирать есть еще что?

— Есть!

Вечером над елбанской гривой висело огромное красное солнце, все никак не могло закатиться.

Шел я через луг, пастух гнал впереди меня стадо и зычно покрикивал на коров, голос его рождал эхо в рощице, окаймляющей высокий берег поймы, где располагается село. Тут на пригорке стояла толпа: женщины, располневшие раньше времени, пожилые мужики-пенсионеры, девушки, несколько из них в джинсах и брюках. Каждая высматривала свою корову.

За двести лет, пока стоит село, копились названия: речки, озера, лощины, гривы, дороги — все носит звучные имена.

А на центральной усадьбе в этом смысле голо: пользуются крошками с озернинского стола. Теплая Грива, Барсучий Лог, Кудриха да Озернуха. И все.

Прохладно, серо, все в тумане. Будто глубокая осень. Огород какой-то растоптанный. Часть картошки выкопана. Помидорные кусты распластаны на земле, огуречные плети высохли, листья жесткие, ржавые. Среди бурьяна желтеют дыни.

Отправился на центральную усадьбу к Байракам, захотелось посидеть в их уютном доме. Тут всегда чувствую себя хорошо, как у родных.

К столу, по случаю субботы накрытому в большой комнате, вышла мать Таюшки. Про нее сказать старуха язык как-то не поворачивается, слово это связывается в моем восприятии с образом строгой и грузной старой женщины. И старушкой не хочется ее называть, это уменьшительное слово предполагает, как мне кажется, человека согорбленного, иссохшего. А как сказать? Внук и внучка, едва говорить стали, назвали ее не бабушкой, а Бабой, так легче им было. Вслед за ними и все остальные в доме, начиная с зятя Ивана, стали ее так звать, а потом и соседи.

Ей сейчас уже за восемьдесят, она кажется невесомой, в чем только душа держится, но ходит распрямленно, как всю жизнь ходила, и хоть ростом невелика, а кажется высокой. А уж как жизнь гнула ее и пригнала!

В лице поражают глаза. Они светятся добротой. Рот совсем впадный, но в углах его всегда улыбка.

Перед самой войной, когда жили в Беспалове, большом в ту пору селе на краю Чарышской поймы, отправился мужик ее, Таюшкин отец, в Кулунду за хлебом. Тут был неурожай, а на севере, по слухам, хлеба много было. Денег, конечно, не было, собрал кое-какое барахлишко в доме, а так как лишнего ничего не имели, то взял, можно сказать, последнее, надеясь выменять на хлеб. Дальше Усть-Чарышской Пристани Яша нигде не был и попался сразу же, святая простота, в лапы каких-то проходимцев: «Хлеба — пожалуйста! У нас столько выдали, что и домой не берем, сыпать некуда, так в ригах и лежит по сию пору».

Привели в колхозную ригу, отдал Яша вещички и принялся в мешки зерно насыпать, а тут сбежались люди.

Не скоро вернулся домой отец Таюшки. Сначала сидел, когда война уже шла, потом попал в штрафную роту и воевал до самого конца, вернулся после Победы живой-невредимый.

Баба рассказывала мне эту историю при Таюшке, которая спросила вдруг у матери пораженно:

— Ты же мне всегда говорила, что за семенами для колхоза поехал тогда отец?

— Говорила, что ж я тогда еще могла тебе говорить, — отвечала Баба. — Тебе в школу надо идти, а отец в тюрьме обретается. Все начнут интересоваться: за что? Лучше уж так было сказать, а если говорить правду, что для себя поехал хлеба добыть, не поверят, что по дурости своей попался. Боялась я отвратить тебя от отца.

В войну определили на постой к Чудовым немецкую семью из Поволжья. Квартиранты привезли с собой несколько мешков настоящей муки. У Чудовых трудодни были, но выдавали на них лишь немного отходов. Зерна чуть-чуть в них, все остальное — семена просянки и карлыка, поэтому мука получалась зеленой. Дети болели и с трудом переносили зеленые каральки, то есть булочки из такой муки. Таюшка, тогда крошечная девочка, подходила к квартирантам с маленькой плоской, и они уделяли ей немного хорошей еды из своих скудных в общем-то запасов. Так она выжила возле них.

— Брюшины большие были у всех, а кости брякали, — подвела итог Баба рассказу о том, как жилось ей с ребятишками в ту пору.

Встретили с фронта отца, жизнь вроде бы налаживаться стала, и тут новая беда обрушилась на семью. Никто ее с этого конца ожидать не мог. Стал работать отец конюхом, и попросил сосед дать лошадь с конюшни для какой-то своей нужды: то ли сена привезти, то ли дрова. Свободной оказалась на этот час лишь одна жеребая кобыла, нельзя было ее, конечно, давать, но уж больно просил человек, и сжалился Таюшкин отец.

Кобыла по дороге сбросила, мертвого жеребенка закопал мужик

в навоз, но все в тот же день обнаружилось, и снова отправился неудачливый конюх на отсидку, на этот раз на два года.

Семья впала тогда в совершенную нищету, ибо корову описали в качестве единственного имущества и свели со двора в возмещение нанесенного колхозу ущерба.

— И я тогда прокляла его и эту кобылу, — пригорюнившись, заключает Баба. — Грешница темная, глаза ничего кругом не различали. И наказана была. Пока я мыкалась с ребятишками, сошелся мой Яша в заключении с какой-то женщиной, когда он домой вернулся, она все писала ему. Я простила: меня с ним рядом не было, и впереди ничего не светило, так что он не виноват.

Пока я сидел в гостях, небо затянуло тучами, и зарядил холодный дождь. Я заторопился к себе в Нижне-Озерное. Хозяева меня оставляли переночевать, но мне было жалко своего голодного кота, и Иван Васильевич повез меня на «Жигулях».

Когда мы по раскисшей дороге добрались до края села, спускаться с высокого грейдера на луговую дорогу Иван Васильевич побоялся — назад по мокрому откосу он бы наверняка уж не смог бы выбраться. Мы попрощались, Байрак развернулся и уехал, а я побрел по лугу к невидимому в кромешной тьме селу.

Дождь усилился и стегал тугими струями, плащ мой промок насквозь через минуту, ноги разъезжались в жидкой грязи.

Забрел я, взяв слишком вправо, в какие-то бурьяны, видимо, это были заброшенные огороды. Тут я вдруг вспомнил свой разговор с приятелем-газетчиком перед отъездом на Алтай, его упования на полугектарные приусадебные огороды, надежды, что они всех нас прокормят. Здесь по пятнадцать соток не желают держать. Поздно, не на ту лошадь ставишь, мой друг, думал я.

Так продирался я сквозь высокие, едва не в рост человека, бурьяны и ожесточался все больше: чего явился сюда ускорять тут прогресс и сводить всех с ума с ремонтом клуба, который и впрямь надо бы давно развалить, а не латать?

Такие, или близкие к таким, мысли явились или готовы были явиться мне в этот полуночный час, когда в домах не светился нигде огонь, все мирно спали под шум затяжного, уже осеннего дождя. Летом бы его! Тысяч пять гектаров хлеба повалили уже в валки. Не раз на моей памяти бывало, что начнутся в сентябре дожди, не удастся толком собрать то, что выросло на полях. Хотя бы на этот раз пронесло.

Брел я брел — и добрел. Зажег свет, принес сухих дровец, затопил печку, пошло тепло. Переоделся в сухое, накормил своего черного котенка и поговорил с ним, отошла душа, отмякла.

Теперь унижительно было вспоминать, с какой пустой обидой пробирался я только что домой. Теперь радовался огню в печи и смотрел на него не отводя глаз. Лицу было горячо, теплом наливалось озябшее тело, приятно ощущать чистую сухую рубашку на спине.

Закипел чайник, и я заварил чай, не пожалев заварки, в стакане дымился медный настой, я макал туда черные сухари — какая это, оказывается, вкусная еда!

Срывающийся под напором ветра дождь хлестал по крыше, оконным переплетам, а в доме у меня уже тепло, и я радовался крову над головой.

Додумался до главного: ничего бы этого не знал, не изведал бы этих радостей, если б не был здесь. Так бы и не подозревал, что такое на самом деле Нижне-Озерное, жизнь которого оказалась безмерно сложнее моих представлений.

И не имел бы по-прежнему понятия о приволье пойменного луга, о том, как фантастически красив он, когда поднимается вечерний туман и тонут в нем стога.

Теперь смешно думать, что поначалу так поразило меня и огорчило всеобщее недовольство озернинцев своим нынешним положением. Недовольство — это лучше чем довольство и самоуспокоенность. Это позыв к действию, улучшению того, что есть. А то до того дожили, что само слово «борьба» стало пугать. Нам кажется, что мы сполна уже заплатили за то, чтоб теперь пожить поспокойнее, без тревог и борьбы. Так никогда не будет. Покой — это смерть. Пока будет жизнь, будет и борьба за лучшее.

И другие ценности в это озернинское незабываемое лето отчетливее проявились для меня.

Надо, чтобы люди непременно сами старались улучшить свою жизнь, а не ждали этого от других.



Гусев Александр Васильевич родился в 1921 году в Омске. Участник Великой Отечественной войны.

В 1955 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Автор книги стихов, двух сборников рассказов для детей, трех повестей, изданных в Новосибирске, Омске и Томске. Член КПСС. Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями.

Живет в Барнауле.

Александр ГУСЕВ

«ВЕДЬ МЫ ЖИВЫЕ, МЫ НЕ ИЗ МЕТАЛЛА!»

* * *

Эмаль на ордене отбита,
Ну, что про это вам сказать...
Убийство было, а не битва,
И лучше бы не вспоминать.
Как будто лопнуло терпенье
В тот роковой, но здоровый миг,
И бросилось все отделение
Через болото — напрямик.
Штыком бы дотянуться только
До разъяренного врага,
Уж мы бы ковырнули с толком,
Поставили бы на рога.
И до сухого места было
Ну, метров сто — так видел глаз.
Но в это время мина взвыла,
Осколки сыпанула в нас.
Летел в меня с убойной силой
Один осколок. И тогда
Ему дорогу преградила
Вот эта Красная Звезда.

* * *

Не забыть, как заходила просто
К нам в блиндаж продымленный, сырой
Щупленькая, маленького роста,
С меткою винтовкой за спиной.
Просушив шинельку, по траншее
Уходила в снайперский секрет...
Не встречал я девушки смелев,
Может быть, такой на свете нет.
Отвечала шуткою на ласку —
Смех был нужен, как в бою металл!
...На твоей тогда счастливой каске
Каждую царапину я знал.

* * *

Траншея, взрытая снарядом...
За речку откатился бой.
С разбитым пулеметом рядом
Солдат к земле припал щекой.
Застряли в золотистых прядях
Комочки ссохшейся земли.
В кармане, в согнутой тетради,
Мы к девушке письмо нашли.
Его неспешно начиная,
Разборчиво писал слова:
«Весна здесь ранняя такая —
Уже на бруствере трава.
Живу тобой, храним тобою,
И потому — минует смерть...
Снаряд прошел над головою,
А скоро здесь земле кипеть».
Письмо в руках мы подержали,
Край оторвав, чтоб спрятать кровь,
И адресату переслали —
Ведь в нем еще жила любовь.

* * *

Война пришла быстрее чем любовь,
Мне даже восемнадцать не давали,
Когда из-под бинтов сочилась кровь,
Когда вокруг ребята умирали.
И мы в какой-то брошенный сарай
Из боя покалеченных носили.
В ста метрах был от нас передний край,
И пули тьму кромешную сверлили.
Сжималось сердце. Не для тишины
День приходил — все снова грохотало.
Но верил я: мы выстоять должны,
Ведь мы живые, мы не из металла!

* * *

Я ждал дождя — сверкало, громыхало,
 А он не шел; деревья ветер гнул,
 И что-то в небе мучилось, страдало,
 И доносился приглушенный гул.
 И вот мгновенье — крупною шрапнелью
 Ударил он, неистово хорош, —
 Живые струи с неба полетели,
 И по асфальту пробежала дрожь.
 А у мальчишек радостные лица,
 Прижались к дому, мокрые стоят,
 К ним, голоногим, мчит поток, струится,
 Как будто где-то рухнул водопад.
 И дождь идет, идет неудержимо,
 Страшит и веселит ребят гроза...
 И мое детство промелькнуло мимо,
 Но я успел взглянуть ему в глаза.

УТРО

Ударился ветер о ели,
 Затих в ледяном серебре.
 Последние звезды дотлели,
 Как угли в забытом костре...
 Рассвет синеватый струится,
 Пугая морозом денек.
 У елей на длинных ресницах
 Повис и не дрогнет снежок.
 И все в этом мире нарядно,
 Здесь пень, как серебряный стул,

И, грудь выставляя парадно,
 Глухарь на суку хохотнул.
 И зайцу, вскочившему с лежки,
 Медведя почудился храп,
 Тряхну своей легкою дошкой,
 Оставил созвездие лап.

* * *

Март вернулся с робкою капелью,
 Кажется, он шел издалека.
 Изморозью тронутые ели
 По утрам стоят, как в облаках.
 И по снегу звездно-голубому
 Выскочит русак из-за сосны.
 Кажется, вдыхаю по-иному
 Этот воздух с привкусом весны.

* * *

Тенета, словно волоконца,
 И под ногой хрустит трава,
 Застряло на березе солнце,
 И капает с нее листва.
 Не шелохнется, словно надо
 Подольше сохранить покой.
 Стоит осенняя прохлада,
 И запах у нее грибной.

Николай ШЕРСТНЕВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С Трапезниковым я впервые встретился десять лет назад. Весна в тот год выдалась мочливой и прохладной. Была середина третьей декады мая, а по району посеяно треть пашни. В Петропавловский райком партии пригласили руководителей хозяйств на совет. Первый секретарь коротко обрисовал обстановку, иронически заметил:

— И синоптики к брехунам попали. Сулили кратковременные дожди, а вот уже третью неделю поливает. Что делать будем? Кому слово?

Разные предложения высказывались. Одни предлагали поднять сошники и сеять поверху с последующей заделкой семян боронами или лучильником. Другие (видно, с крепкими нервами) успокаивали: сроки не ушли. Погода будет, посеем. Поднялся приглашенный пенсионер Дурнев. Пригладил на пробор седые волосы, откашляваясь, начал:

— Неужто до середины июня собираетесь сеять?

— А что ж особенного? — тут же снова отозвался молодой председатель.

— То-то я вижу, жизнь тебя не клеивала в одно место... Это тебе не Кубань, где морозов и до нового года не бывает, а Сибирь. Хряпнет мороз в конце августа — и конец твоему хлебу. Получишь отруб. Я на своем веку всякого перевидел... Крайний срок сева — 25 мая, а дальше с пшеницей не лезь!

Авторитет Павла Филипповича почитался в районе. Всю жизнь прожил он в селе Антоньевка, руководил колхозом больше четверти века. Здоровье стало... Но ни одно заметное собрание или совещание, связанное с сельским хозяйством, не обходится без него.

— Что вы посоветуете, Павел Филиппович? — с почтительностью обратился к нему первый секретарь.

— Вот я и советую: надо сеять. Лучшие сроки для наших мест уже прошли.

— Будто в вашем колхозе и в дождь сеют, — не унимался тот же председатель.

— Дождь идет не все сутки, бывают и перерывы. Вот в перерывы и сеют в Антоньевке. А кто сомневается — поезжайте в бригаду Трапезникова... Он завершает сев.

По пути в колхоз имени Ленина мы свернули на взгорки, где расположен бригадный стан колхоза «Прогресс». Все тракторные агрегаты на приколе.

— Мешают дожди, — в один голос

зашумели механизаторы... Такое же было настроение, как и у их председателя.

...Трапезникова в бригаде не застали. Молодая с круглым розовым лицом повара сказала:

— Виктор Матвеевич на поле у Волчьей горы.

Дождь перестал моросить. И мы вместе с главным инженером райсельхозуправления поехали разыскивать Трапезникова.

— И что ему делать на поле? — неодобрительно отозвался мой попутчик. — Если и работают агрегаты, так бригадиру мокнуть под дождем необязательно.

Трапезников стоял на обочине дороги, откуда только что отправился трактор с прицепом сеялок. В резиновых сапогах, черной болоньевой куртке, цигейковой шапке-ушанке — таким я увидел его впервые. Плотный, коренастый, с крупным овальным лицом, усеянным веснушками.

— И в дождь сеете?

— Надо сеять, — ответил он. — Сроки уходят.

— Не залипают ли сошники?

— Сошники не залипают, трактору нагрузка большая. Только что у Пахуркова поломка устранена — полетела трубка высокого давления. Новую поставили. Подъехал заправщик сеялок. Молодой рыжий шофер Мельхер к бригадиру:

— Виктор Матвеевич, останови сев.

— В чем дело, Иван?

— Не могу ехать. Машина буксует.

— Не знаешь, что надо делать в таких случаях? — спросил с укоризной бригадир.

— Знать-то я знаю, да время...

— Цепи есть? — прервал шофера Трапезников.

— Есть.

— Так накидывай быстренько и потирайся за семенами.

Шофер загремел цепями, стал прилаживать к задним колесам. А Трапезников продолжал:

— Только что воспитывал сеяльщиков. Пристали: «Останови сев, промозгли». А мне — не холодно, говорю им в ответ. Холодно. Да и пословица народом не зря придумана: «Весенний день год кормит».

Покопались в рядках. Семена заделаны мелко, на 2—3 сантиметра. А Трапезников будто разгадал мое сомнение:

— Влаги в почве много. Сверху быстрее прогреется, семена через три-четыре дня всходы дадут. И пошла пшеница в рост. А заглуби на 7—8, как в рекомен-

дациях, так они неделю пролежат. Время уйдет. Да и всходы будут неровными.

Слушал я Трапезникова и думал: «И откуда он знает тонкости полевой культуры». Для интереса спросил:

— Институт заканчивали или техникум?

Виктор Матвеевич отшутился:

— Полевую академию на антопьевских землях. С десяти лет начал постигать суть хлеборобского бытия. В войну на коровах боронил и сеял, а подрост — на тракторе пересел. На всех марках работал. Вдоль и поперек каждое поле знаю. Где низинка, где бугорок. В одном месте почва порыхлее, в другом — плотнее. По двигателю нагрузку чувствуешь. Да и поля одно другому рознь. На одном лучше пшеница растет, на другом овес... Вот и понимай землю...

— Школа у вас богатая, — соглашайся.

— С детства я запомнил, как отец мой и дед говаривали: «К земельке надо с почтением относиться». А наш председатель Павел Филиппович, бывало, спросит: «Ты, Виктор Матвеевич (по имени-отчеству называл каждого колхозника), как землю понимаешь?» — «Понимаю, — говорю, — по конечному результату». — «Нет, — говорит, — этого мало. Ты пойми суть ее постоянного обновления. Будешь хорошо обрабатывать, беречь ее плодородие — предела урожайности нет. Оттого и пословица пошла: труженику — земля мать-кормилица, а лодырю — мачеха». Теперь и я молодым механизаторам твержу: будешь землю любить — с урожаями дружить.

Запала мне в голову та встреча с Трапезниковым. С тех пор доводилось бывать в бригаде не только в посевную, но и в уборочную, зимой, когда на поля вывозилась органика. При каждой встрече отмечал для себя новые перемены в этом небольшом коллективе. Изменилось отношение человека к порученному делу. Вырос и сам бригадир, достигнув, можно сказать, вершин хлеборобского мастерства.

На бригадном собрании с докладом об итогах апрельского Пленума ЦК выступал коммунист Трапезников.

— Полевые работы в разгаре. Буду говорить о главном. — Внимательно оглядел присутствующих. — Наша партия ставит задачу ускорения экономического развития страны. За короткий срок надо сделать больше и лучше. Определены и главные направления этой задачи: ответственность и дисциплина на всех уровнях и подразделениях, борьба с расточительством и потерями. Стало быть, я так понимаю, дело касается каждого из нас, всей бригады. Нам есть над чем подумать, есть к чему приложить руки. Планы бригады, — докладчик указал рукой на таблицы, — получить 25 центнеров — реальные. Но если постараться — можно вырастить урожай и повыше.

— Правильно сказано об экономии и бережливости, — поддержал бригадира механизатор Угрюмов. — Тут и нам надо подумать. В бригаде есть механизаторы, которые на одном тракторе работают по десять и больше лет, экономят горючее. А у других — через два-три года на капитальный ремонт. Построже надо спрашивать за эксплуатацию машин, за экономию горючего и запчастей... А еще про интенсивную технологию хочу сказать. Опробовали вчера сошники для заделки удобрений, как он этот метод называется... — тракторист замялся.

— Локальное внесение, — подсказал партгруппорг Пахорук.

— Вот, вот... Не годятся они.

— Почему не годятся? — насторожился бригадир.

— Так и не годятся... Конструкция не та. Узкая прорезь в тыльной стороне, быстро залпает. И еще одно несоответствие — после прохода сошника в почве остается глубокая бороздка, след не смыкается. Влага будет сильно испаряться. Что-то надо придумывать, а то провалимся.

Угрюмов сел. Из боковой комнаты кто-то пробасил:

— Не провалимся. Рассыпай гранулы поверху, а потом лучилышником.

— Кто там советы дает? — сердито спросил бригадир. — Надо усвоить главное новой технологии: минеральные удобрения заделываются на четыре-пять сантиметров глубже семян. А по нынешнему году — на все восемь-десять сантиметров.

Потом выступил звеньевой Василий Леонтьевич Зайцев:

— Вопрос об ускорении производства зерна поставлен правильно. Только я думаю, ускорять нам надо всем. Если, к примеру, Петро Угрюмов задание на севе выполняет на 200 процентов, то и остальным нужно подтянуться. Мое звено намерено поднять выработку до 230—250 процентов. А что думают другие? Есть среди нас такие, кто на фоне высокой выработки других хочет остаться незамеченным. На работу приходят с «душком».

— Ты это кого имеешь в виду?

— Тебя имею в виду, — уставился Зайцев на Кучумова.

— Я плотник, сеять тебе не мешаю.

— Мешаешь. На сеялке стоишь, а видишь, куда семена ложатся?

— Все в земле будет, — буркнул Кучумов.

Тут Зайцева поддержали Мусин, Свиридов, Иванов. В один голос потребовали:

— Собери, Матвеевич, совет бригады, мы подкинем ему «премию».

Последним взял слово Михаил Васильевич Пахорук.

— Я полностью поддерживаю решения Пленума ЦК и хочу выразить уверенность, что коммунисты бригады, а вместе с ними и комсомольцы своим трудом докажут...

— А что ты, Михаил Васильевич, нас, беспартийных, не упомянул? — не то шутя, не то всерьез спросила повар Галина Фалалева.

— Вы тоже в авангарде, — успокоил ее партгруппорг. — Если не будет возра-

жений, я прочитаю ряд предложений, которые мы подготовили собранию.

По первому пункту дружно подхватили: итоги работы Пленума ЦК одобрить. Второй вызвал возражение.

— Ни к чему все культуры возделывать по интенсивной технологии, — возразил молодой механизатор.

— Выкладывай доводы! — не смутился Пахоруков.

— Вот и доводы... В газетах пишут: по интенсивной технологии возделывать пшеницу по чистому пару. Получить тонну прибавки зерна. А мы будем сеять и по кукурузе, и по второй пшенице. Значит, уже прибавки не будет. Наши соседи не врются вперед, приглядываются.

Поднялся Трапезников:

— Я хочу поддержать партгруппорга и возразить тебе, Владимир Андреевич. Кукуруза — хороший предшественник для яровой пшеницы. Поле чистое, и влаги в нем накопилось. Будем сеять и по пшенице, которая размещалась в прошлом году по чистому пару. Это допустимо. А что касается соседей... Ты каких соседей имел в виду?

— Михайловцев... — уточнил механизатор.

— По михайловцам нам стыдно равняться. Они для нас не пример. На двенадцать центнеров наш гектар дает больше зерна, на 100 центнеров зеленой массы кукурузы, да и по другим культурам. Замечу: нелегко было нам с Михаилом Васильевичем этот пункт записывать. Но в расчет брали еще один фактор: люди у нас в бригаде ко всякой работе ответственно относятся. Взять хотя бы тебя, Владимир Андреевич! Ведь ты молодой механизатор, а дяде своему не уступаешь ни по темпам работы, ни по качеству. Значит, стараешься. Верно я говорю?

Отозвался и дядя — Василий Кузьмич Иванков:

— Что тут говорить... Михайловцы пускай к нам почаше навешиваются. Правильно, Матвеевич, надо и по другим полям интенсивку внедрять. Забота о полях должна быть одинаковой.

И за второй пункт проголосовали единогласно.

Пахоруков зачитал следующий пункт: об участии группы народного контроля на севе. И с вопросом к Мусину:

— Как ты на это смотришь, Василий Захарович?

Сидевший в первом ряду Мусин одобрительно кивнул.

Записали и о подведении итогов соревнования на севе. Кто-то задал вопрос: как будет с питанием для ночной смены? Галина Фалалеева и Фрида Вишнякова в один голос:

— Все будут накормлены. А передовикам — дополнительно котлеты с горячим чаем, чтобы ночью не скучно было.

На том собрание и закончилось. Трапезников посмотрел на часы — за полчаса управились.

— Всем по своим рабочим местам, — объявил он и направился к выходу.

* * *

В этот день полевые работы разворачивались на самой дальней пашне, южная сторона которой поднималась к волнистой гриве. Сверху поле как на ладони. И хотя Трапезников был уверен в каждом механизаторе, своей традиции не нарушал: где люди — там и он. Руководствовался бригадир и еще одним принципом: в какую почву семена положил — такой и урожай жди. С бригадного стана не увидишь, а на поле силу земли почувствуешь, связь с ней человеческого бытия. И на этот раз, оставив «шиньон» у верхней кромки поля, пошел на полосу. На противоположной стороне поля работали агрегаты. Символично выглядела рабочая обстановка: два красных «Кировца» с луцильниками оставляли широкий темный след взрыхленной почвы, за ними — два агрегата ДТ-75 со сцепками борон; включились в работу три агрегата с сеялками, заключали панораму два агрегата с катками.

— Силища-то какая! — с радостью и гордостью вырвалось у бригадира. — Больше тысячи лошадиных сил на поле!

Когда-то ему, мальчишке, в годы войны довелось понукать коровенку, теперь же — промышленный конвейер, — все делается одновременно.

Он шел по полю, то и дело нагибаясь, вырывал появившиеся сорняки или разгребал посережнюю от времени измельченную солому, брал в ладонь щепоть черной почвы и подолгу держал ее на ладони, ощущая приятную прохладу. От тепла руки почва подсыхала, терялась ее свежесть. Подержав еще минуту-другую, разжимал ладонь. Налетевший порыв ветра подхватывал мелкие частички, оставляя на ладони лишь темный след. Узвима почва. Разрушаются ее комочки от трения с почвообрабатывающими орудиями, причиняют вред и ветры. Трапезников провел ладонью по стерне, подумал: «Стерня выполнила свою роль — защитила поле от ветров, сберегла и влагу. А стлеет — пополнит запас органического вещества. Вон сколько выгод!»

Как-то при встрече с Виктором Матвеевичем я спросил:

— Какая система земледелия на полях?

Не торопился с ответом бригадир. Задумался.

— Как тут правильно выразиться... Есть у каждой системы положительное и отрицательное. За сорок лет моей работы в колхозе на полях побывала и травопольная система земледелия, и пропашная. Потом зернопаровая... Теперь — почвозащитная. Научное обоснование одно: повышать плодородие почвы и повышать урожайность!.. Все правильно. Но вот что я замечаю: медленно прирастает урожайность, а в иных хозяйствах по округе десятилетиями держится на одном уровне — двенадцать-пятнадцать центнеров. И нам особенно хвалиться нечем, но все ж таки по бригаде перешагнули за двадцать, подбираемся к тридцати. Вот я и думаю: только ли дело в системе земледелия?..

Тут Трапезников опять надолго задумался, а потом с убежденностью, сказал:

— Поле надо знать.

Знать поле... Не потому ли так часто он берет в ладони пригоршню земли, подолгу держит. «Все соки в ней!» Как-то спросил Трапезникова:

— Кого вы считаете своим наставником?

— Мальцева. Терентий Семенович всегда дает дельные советы земледельцам. Его система безотвальной обработки живет на наших полях уже больше тридцати лет. Надежно себя зарекомендовала.

— Но и в других хозяйствах стараются внедрять новое, но такой заметной отдачи не видно. Значит, у вас есть факторы, от которых зависит успех?

— Главный фактор в любом деле — кадры. Кадры решают все! К примеру, Михаил Васильевич Пахоруков тридцать лет отработал на тракторе. Сейчас помощником бригадира по технике работает. Наставник молодых механизаторов. Петр Александрович Урюмов — думающий тракторист. Сердцем чувствует землю! Другой раз скажет: «Торопимся, Матвеевич, с севом. Земелька не прогрелась». А Парков, а братья Велидовы...

Бригадир остановился на пролущенной пахоте, покопался, прикинул глубину взрыхленного слоя. Все как надо. А все же усомнился: надо ли при такой повышенной влажности лущить на восемь сантиметров, хватило бы и шести... Подождал агрегат, поднял руку.

— По нынешней весне вроде глубоковато? — спросил он подошедшего механизатора.

Тракторист тут же принялся разгребать кирзовым сапогом почву. Нагнулся, зачерпнул в ладонь влажную землю, сжал в комок, подержал в кулаке, а потом, прислонив к гладко выбритой щеке, вздохнул:

— Прохладная почва, прогревания требует.

— На шесть рыхли и прогреется скоро, а влаги сохранится больше.

— На мою думку — глубина как раз, — стоял на своем тракторист.

Трапезников и сам взял с того же места земли, подержал в ладони, а потом согласился:

— Быть по-твоему, Андрей Яковлевич, в прогретой почве корни быстрее силу набирают. Трогай!

Довольный доводом, механизатор зашагал к агрегату, ловко поднялся в кабину. Тяжелый трактор, со свистом выхлопнув клубки дыма, покатил дальше, оставляя за собой глубокую колею. Сферические диски лущильника всером кружили подрезанную темную массу. За доли секунды почва крошилась и оборачивалась, укладываясь в мелкие гребни, но след от колес оставался. Бригадир потоптался на одной, потом перешел на другую — картина та же. Хороший трактор, но тяжелый. Полю помеха. Пошел к следующим агрегатам.

Агрегаты борон шли в интервале от лущильников. Прицепленные к боронам шлейфы сглаживали гребни, выравнивали поверхность. Невелики затраты на изготов-

ление шлейфов в колхозной кузнице, а влаги много сберегают.

Работой бригадир остался доволен, агрегаты не остановил. Попытался обнаружить крупные комки или не сглаженную поверхность гребней — не удалось. Похвалил механизаторов. Соблюдают технологию. Сам же Трапезников этому приему ставит одну задачу: устранить воздушную «подушку» в почве, чтобы влаги меньше испарялось.

Годами ведет он наблюдения за каждым полем. В блокнот соответствующие записи. Спроси Трапезникова: «Какими принципами руководствуетесь на полевых работах весной?»

Тут же Виктор Матвеевич скажет:

— Три принципа. Первый: вначале все работы и сев проводим на чистых полях, затем на полях, где сорняков поменьше, а уж на засоренных — в последнюю очередь. Второй принцип: все работы носят водосберегающий характер, иначе говоря, с обязательным выравниванием поверхности. И третий: делай все вовремя. Не жди подсказок, указаний сверху... Работа на поле носит сезонный характер, не застрахована от случайностей. Промедлил с уборкой — урожай под дождь попадает...

Этому принципу он верен всегда.

Шагая навстречу сеялочным агрегатам, бригадир то и дело поддевал рукой рыхлую почву: не допустил ли ошибки — пустил вслед сеялочные агрегаты? Насторожили его слова механизатора: прохладная почва — прогреть надо. Догадуются ли установить сошники помельче, почва влажная... Какая-то тревога закралась в сердце.

От края поля посевные агрегаты прошли метров триста. Порядком. И бригадир зашагал крупным шагом. Заметив его, тракторист остановил агрегат:

— Что-нибудь случилось, Матвеевич?

— Сомнение закралось, Василий Кузьмич. Вот и тороплюсь. Ты на какую глубину семена заделываешь?

— Из кабины трактора разве увидишь, — попытался отшутиться Иванков, — сеяльщики надо спросить.

— А за качество ты в ответе, потому как начальник агрегата.

Подошли к сеялкам. По ходу сошника принялись грести почву.

— Вроде нормально. Чуть больше спичечного коробка.

— А сколько это «чуть» — сантиметр, два?

— Около двух.

— Получается около семи сантиметров, — подвел итог бригадир. — Так и есть — семь.

— Значит, правильно. Как в рекомендациях...

— Каждая рекомендация в поправках нуждается. Если почва прогретая и влаги в ней мало — сей па семь, а если влажная и тепла набрала — четырех-пяти хватит. С умом подходить надо. Поднимайте сошники!

После регулировки агрегаты двинулись дальше, а Трапезников шел вслед, все еще проверяя работу сошников. Семена заделывались равномерно, тонкими струйками

тянулись за сеялками. К севу у него всегда обостренное чувство. Если почвенные условия соответствуют появлению дружных всходов, надо провести сев в сжатые сроки, а выработка должна быть максимальной — два гектара на сошник. Цель одна: чтобы растениям было лучше. Во имя этого темпы на севе были высокими в прошлом, остаются такими же и сейчас.

...Признание пришло к Трапезникову давно: в 1960 году ему вручили диплом — мастер высокого урожая, награжден орденами и медалями, делегат XXIV съезда КПСС, участник ВДНХ СССР. Высокая организация труда присуща в работе бригадира. Как-то спросили Трапезникова:

— Что вы считаете в своей работе главным?

— Советоваться с людьми, — ответил он. — Коллектив комплексной бригады — полсотни человек, а в ней — совет. На совете обсуждаются все производственные задания, подводятся итоги выполнения. Бывает, что и строго спросят за дело, так на пользу.

На прикатывании посевов Трапезников бывал после обеда. Не сложная работа — прикатить посевы, а для бригадира важно качество, не допустить крупных комков, борозд. Остановил агрегат в том месте, где между проходами оказался «просвет», без перекрытий.

— Кто из вас торопится? — посмотрел в глаза молодым механизаторам. (Замаялся парень.) — Чтоб такого не было больше.

Поздним вечером закончилась работа на поле. В один день управились: обработали почву и посеяли яровую пшеницу. А следующим утром «молния» известила: дневное задание на севе выполнено на 300 процентов.

— Молодцы! — похвалил механизаторов бригадир. — Так и дальше давайте работать.

* * *

После обильного июньского дождя работа на полях остановилась. Удобный случай покопаться в огороде. Виктор Матвеевич копал лук, а его жена Александра Александровна ловко уплотняла почву вокруг стеблей томатов.

— Помощь нужна? — окликнул я супругов.

— Заходите, дело найдется, — откликнулась хозяйка. — Еще капуста на очереди.

Управившись с капустой, Александра Александровна принесла из парника десятка полтора перцев.

— Ты, мать, что-то упрягла меня, — шутиливо заметил муж. — Просила помидоры рассадить, а теперь и перцы...

— Спасибо дождинку, — звонко отозвалась та, — а то от тебя помощи дождешься.

Хозяйка разговорилась:

— Живем в деревне. Все надо самим припаси к зиме. В огороде картошку и овощи, фрукты и ягоды, а уж хлеб Виктор на поле вырастит, заработаем.

— Семья-то большая? — спросил я Александру Александровну.

— Вдвоем остались, — с грустинкой ответила она. — Сын и дочь имеют свои семьи. Внуки часто навещают. Забава с ними! Только б не было войны. А так чего не жить, все есть в доме.

После работы сидели в гостинной, обставленной на городской манер: стенка с изящной отделкой, цветной телевизор, ковры, паласы; на журнальном столике — свежая почта, журналы. На большом столе, покрытом клетчатой скатертью, развернут центральной газеты с крупным заголовком: «Коренной вопрос экономической политики партии». Рядом листы бумаги, исписанные крупным почерком.

— Готовлю выступление на пленуме крайкома партии, — пояснил Трапезников. — Большие проблемы поднимает ЦК. Если глубоко вдуматься в каждую строчку — сколько же надо сделать! Масштабы бригады, конечно, поменьше, но успех в целом будет зависеть от сотен тысяч бригад, как наша.

— Если не секрет, какие вопросы думаете затронуть? — спрашиваю.

— Какие секреты у производственников? Вот наброски. — Он протянул несколько листов.

Наброски касались в основном заготовки кормов, брались обязательства довести сбор сухой массы сена с полевого гектара до 50 центнеров. Цифра 50 была округлена красным карандашом, и поставлен вопросительный знак.

— Что, нет уверенности?

— Уверенность есть. И травы хватает. А вот взять ее... На весь район пришлось пять косилок-плющилок. Конных сенокосилок днем с огнем не сыщешь. Нет граблей. А это важный вопрос. У него глубокие корни. Сегодня утром пришли в бригаду школьники. «Дядя Витя, — говорят, — не найдется ли работа? Каникулы наступили. Хотелось денег подзаработать собственным трудом». Хороший настрой у ребят. Какую им дать работу? Раньше, бывало, посадишь на грабли человек трех-четыре, десяток копны возят. Друг перед другом стараются. Им в удовольствие на лошадях покататься. В обеденный перерыв наперегонки к речке. Покупаются и снова за работу. Не нарадуешься. А подрастут — другую работу подбираешь, посложней. Так и остаются в деревне. А теперь что? Находим, конечно, но чаще не по их нраву. Так и отбивается охота к сельскому труду с детства. Вот они где, корни!

— И все-таки вы планируете в сжатые сроки провести сеноуборку, подвезти корма к местам зимовки.

— То, что мы имеем в наличии сеноуборочной техники, этого недостаточно, — посетовал бригадир. — Современная технология требует заготовку витаминных кормов в гранулах, брикетах. А самое главное — высокопитательные. Не всегда это удается. Подвалишь гектаров сто-двести и смотришь на небо. Ладно, погода сухая — через три дня сгребешь, в стога сложишь. А если тучки поплыли из-за Чайной горы — тревога. Почернеет трава. Ни витаминов в ней, ни протенна. На бумаге сено есть, а продукции мало.

Снова пауза.

Немного словен Виктор Матвеевич, но по каждому затронутому вопросу говорит исходя из накопленного годами крестьянского опыта веско и аргументированно.

— Ну а к агропрому краевому есть у вас претензии?

— У нас есть серьезные претензии к снабженцам, — ответил он. — Слабо, если не сказать больше, удовлетворяются наши заявки. Порою в разгар полевых работ агрегаты простаивают. Управление нефтепродуктов, например, в уборочную страду может создать пиковую ситуацию с горючим. Бензовозы посылали в другую область — за четыреста километров. Заправка комбайнов идет с колес или на приколе стоят. Погожий день простоишь, а потом в непогоду технику рвешь, продукцию теряешь... Не под крышей ведь поле, всем невзгодам открыто... Вот об этом и хотел сказать.

— Но в «набросках» об этом не написано, — вернул я автору листы.

— Да все думаю: как бы это поделикатнее...

— Обойти острые углы?

— Дорого они производству обходятся. Вот еще забыл сказать о новой технике. Механизаторы прямо наказ дали: скажи, до каких пор заводы будут поставлять некомплектную технику. Нынче получили два луцильника, а к работе собрать не можем. Там на раме отверстий нет, «забыли» крепления положить. Колхозная кузница недокомплект погашает. Луцильник — это что! С комбайном «Енисей» куда больше мороки!

Казалось бы, комбайн, пришедший на смену «Сибиряку», должен быть более производительным, удобным в техническом обслуживании. Ан нет! При обмолате увлажненной массы барабаны забиваются. Ни с одной стороны не подлезешь. А то что в рекламе говорилось — «снижает дробление зерна», — это не соответствует действительности.

— И все же, как «Енисей» работает на большом хлебе?

— Если намолот с гектара свыше тридцати — «захлебывается». Не успевает промолачивать. Скорее бы Дон-1500, — высказал надежду бригадир.

— Для «Дона» и урожай нужен повыше.

— А мы к этому стремимся, — улыбнулся Виктор Матвеевич, взяв из вазы два колоса, покрутил в пальцах.

— Два сорта: Вега и Алтайская-81. Всем хороши: и по белку, и по клейковине. И по хлебопекарным качествам высшему баллу соответствуют. Но имеют слабость — полегают. Для предгорий — это существенный недостаток.

Затронули в тот вечер и другие вопросы, связанные с защитой растений от вредителей, болезней, с возделыванием культур по новой технологии...

— Есть ли на посевах пшеницы технологическая колея? — переспросил гостеприимный хозяин, уставив на меня большие карие глаза. — Врать не буду. Технологической колей нет. Разумом своим понимаю: нужна колея, а воспользоваться ею практически невозможно. В рекомендациях все

расписано гладко, но к ним еще нужно материальное подкрепление: регуляторы роста, защитные средства, ассортимент удобрений. Многих компонентов даже в крае нет. Зачем тогда иметь колею?

И снова пауза.

У современной науки достаточно работ, чтобы успешно осуществлять защиту культурных растений от сорняков, вредителей и болезней. Вдумаемся только в отдельные проявления отрицательных факторов. От средней засоренности недобор урожая составляет 20—30 процентов, от льявицы — 15—20, от пыльной головни и прочих гнилей — до 40. В итоге — сбор зерна был бы на 50—70 процентов выше, чем мы имеем на самом деле. Проведи своевременно обработку пшеницы туром, и не поляжет стебель. Препарат затормозит удлинение нижнего междоузлия той же Веги или другого сорта, сделает его коротким и прочным. Подкормка растений азотом в фазу налива усиливает накопление в зерне белка и клейковины. Эффективность очевидна!

— Разве я не понимаю важности этой колей? — прервал молчание Виктор Матвеевич, догадываясь о моем несогласии. — Она нужна. Но давайте проследим ее использование по фазам развития растений.

Он достал рекомендацию, отыскал страницу.

— Вот. Первое. Обработка всходов пшеницы диаленом или илоксаном в зависимости от вида сорняков — ни того, ни другого препарата РАГО не выделяет. Второе. Обработка посевов против ржавчины, мучнистой росы, гельминтоспориоза и тому подобное — по результатам фитосанитарной оценки. За мою сорокалетнюю работу никто ее на этих землях не проводил. Еще один пункт. Я его специально подчеркнул: «Некорневая подкормка плавом улучшает качественные показатели зерна». Хорошо бы, конечно, поднять клейковину до 32—34 процентов. Навар для хозяйства! Но как грамотно рассчитать: сколько надо внести мочевины, аммиачной селитры?.. Где провести экспресс-анализ почвы? Везти образцы почвы в зональную агрохимлабораторию — неделя, а то и две пройдет. Упущены сроки. В итоге технологической колей делать нечего. Надо все иметь под руками. Тогда хлебороб и сам убедится: без технологической колей ему не обойтись.

Трапезников был не первым, кому задавался этот вопрос. Ответ тот же: нет ее.

...Утром следующего дня встретились на бригадном стане. Трапезников предложил проехать на поля. Земля дышала прохладой и свежестью зелени.

— Вовремя выпал дождик, — вырuling вая «шиньон», с удовлетворением отметил бригадир. — На «штык» промочило. Интенсивно будут расти хлеба. Смотрите на это поле.

Яровая пшеница кустилась. На темно-зеленых листьях застыли крупные капли обильной росы, сверкая в ярких лучах солнца. Еще неделя, и рядки сомкнутся. Трудно будет точно определить густоту всходов. И, словно читая мои мысли, Виктор Матвеевич отметил:

— Хорошая густота. Десяносто расте-

ний на погонном метре. С учетом кустистости — шестьсот колосьев на квадратном метре.

Видно, бригадир не один раз в своей жизни пользовался методикой подсчета биологического урожая. Полграмма — это масса одного колоса, умножил ее на число продуктивных стеблей, и готов итог.

Остановились на границе двух полей: пшеницы и гречи. Зашли на хлебное поле. Не вытерпел Виктор Матвеевич:

— Всегда радуюсь всходам. Особое чувство испытываешь: растет хлеб!

— Вы на своем веку уже немало вырастили хлеба?

— Наверное, много... — задумчиво ответил он.

— И от большого хлеба — радость большая.

— Радостно, конечно. Но бывает и горечь. Особенно — когда дождливая погода. Уборка урожая кажется вечностью — и день, и ночь на поле. Как-то внуку стал объяснять слово «колхоз», а он и говорит: «Понял, дедушка. Это когда уборка, уборка и уборка!»

С пшеничного поля перешли на гречиху. К ней у Трапезникова особое отношение. За высокие урожаи ему была присуждена Государственная премия СССР.

— Доходная культура, — говорит он. — Хороший медосбор обеспечивает, хорошо отоваривается комбикормом. Для колхоза выгодно.

— Но можно и в проигрыше оказаться?

— Можно, если не учитывать ее особенности. Тут свои тонкости. Где посеешь, какая экспозиция склона, какая температура воздуха, часто ли роса будет на цветухе... Не учтешь — пустоцвет получишь. Ни крупы, ни денег...

Побывали на кукурузе. Ровные строчки, точно по линейке механизатор начертил их на поле. У кукурузы формировался четвертый лист. Комментарий бригадира:

— И кукурузу нынче по интенсивной технологии возделываем. Внесли органические и минеральные удобрения, дважды прокультивировали почву до посева, уже и по всходам обработали...

Поле чистое, ухоженное. Равномерное расположение растений в рядах. Посев широкорядный. Одним словом, настоящая плантация! Замечу, во многих хозяйствах этой зоны внесли «поправку» в технологию: посев кукурузы рядовыми сеялками. В результате чего поле зарастает бурьяном, а растения, достигнув метра высоты, завершают свое развитие. Ни массы, на початка.

Заехали и на многолетние травы. Эспацет занимался пурпурным цветом.

— Через день-два начнем убирать, — говорит Трапезников. — За погоду нужно управиться.

И на каком бы поле ни были, везде порядок. Обочины припаханы к дороге, обсеяны. Ни лишнего дорог, ни огрехов. Поистине заслуженно бригада носит почетное звание: «Бригада высокой культуры земледелия».

— Перенимают ли ваши секреты работы с землей соседние хозяйства? — инте-

ресуюсь. Виктор Матвеевич прореагировал своеобразно:

— Неужто и вы верите в секреты?.. Нет их! И не может быть. Есть одно: лучше работай с землей, полной мерой отвечай за ее отдачу. А что касается перенятия опыта... — Трапезников задумался, а потом и закончил мысль: — Приезжает начальство.

— А бригадиры, агрономы?

— Не было.

А жаль!

* * *

В начале сентября снова встреча. На этот раз с поручением — подготовить телепередачу с участием бригадира по случаю знаменательного события в его жизни. Указом Президиума Верховного Совета СССР бригадиру комплексной бригады Трапезникову Виктору Матвеевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда.

Бригада уже завершила уборочные работы. И, может, завершила бы — пройди стороной циклон.

— Не вовремя приехали, — с горечью произнес Трапезников. — Неделю стоим. Уже и ток давно бы зачистили. Погода мешает. Зацепилась туча за Чайную гору и поливает. И вправду народная пословица: «Дождь идет не когда просишь, а когда хлеб косишь».

— В других хозяйствах меньше нашего убрали, — обронил оператор.

— Это плохо, что не убрали. Хлеб под дождем...

— Сколько гектаров еще не обмолочено? — спросил я Виктора Матвеевича.

— Одно поле осталось. Да поле-то какое!

Замысел режиссера — снять рабочий процесс уборки — срывался. На ходу прикидывали: какими кадрами сопроводить рассказ бригадира о достигнутых результатах. Помог сам Трапезников:

— Может, на поле проехать?.. Правда, виду того уж нет.

— Конечно, на поле, — согласились все. — Снять кадры на фоне пшеничного массива.

Но фона не было. Яровая пшеница Алтайская-81 лежала сплошным войлоком. Трапезников поднимал мокрые стебли с набухшими колосьями, собирал их в кучу, формируя сноп, в одном, другом, третьем месте. И все больше мрачнел. Хватило хлебоборобского мастерства вырастить богатый урожай, а вот убрать...

Режиссер попросила Виктора Матвеевича прокомментировать технологию, обеспечившую формирование урожая (оператору того и надо). Несмотря на полеглость, урожай смотрелся весомым.

— Думаем, собрать по тридцать пять, а может, и больше.

— Это поле было посеяно по интенсивной технологии?

— Технология для пшеницы на всех полях была одинаковой: сеялкой СЗС-2,1 внесли по 80 килограммов минеральных удобрений на гектар, семена первого класса, соответствующий уход провели. На этом поле — предшественник кукуруза.

Оператор не удержался:

— По чистому нару, значит, и пятьдесят можно получить?

— Можно и больше. Убирать ладом еще не научились. И техника слаба...

С пшеничного поля заехали на кукурузное. Три силосоуборочных комбайна под самый корень срезали рослые стебли с крупными початками.

Трапезников разворачивает початок с молочными зернами.

— С такого силоса и надой прибавится, — с удовлетворением сказал он. — По 320 центнеров с гектара. Бывало, и больше получали зеленой массы, но без початков. Выигрывали в массе — проигрывали в качестве кормов. Теперь технология подчинена початку, кормовых единиц в таком силосе больше.

На кукурузном поле свои тонкости технологии. О них бригадир рассказывает просто:

— В погоне за зеленой массой во многих хозяйствах перешли на рядовой посев кукурузы, избавив себя от забот по уходу за посевами. Не поддались мы на ту «удочку». Посмотрели: кукуруза — что камыш на болоте — тонкие былинки. Привольно там сорнякам. Сею у себя кукурузу широкорядным способом, удобрений органических и минеральных даю под основную обработку и в рядах. Уделяю внимание и уходу. Никогда не подводила!

В ту поездку нам довелось видеть много кукурузных полей вдоль долгой и длинной дороги. Право же, горько смотреть на «пленницу» в жирующих сорняках. Да и зерновые выглядели в иных хозяйствах не лучшим образом. Видно, ждали, когда РАПО pošлет нужный препарат против сорняков. Или просто делают по принципу: посеял — убрал. А убирать, строго говоря, и нечего.

— Остановитесь, пожалуйста, — попросил шофера Трапезников, когда машина поравнялась со стоящими тракторами в загонке. — И больно на душе, что дожди мешают убирать хлеб, а с другой стороны, подумаешь: а что будет в следующем году, если поле не накопит влагу?

С этими словами бригадир вылез из машины и пошел по рыхлому следу. Ловким движением правой руки захватил пу-

чок стерни и поднял его вместе с увлажненной почвой. Покрутил в руках, бросил. О чем думал тогда бригадир? Неведомо нам. Только по возвращении скупое констатировал:

— Нелегко хлеб дается.

Никто не стал уточнять, какой смысл вкладывал в эти слова бригадир. Каждому было понятно его настроение. Но, к нашему удивлению, он тут же разговорился:

— Хлеб мы, конечно, уберем. Погода наладится. Только вот что мне подумалось: каким терпением наделен хлебороб! В погоду и ненастье работать на поле. Нельзя хлеб убирать — тут же на трактор пересел, зябь поднимает. Закончит полевые работы, а там уж ферма ждет... Ремонт техники. И снова — поле. И так год за годом. Всю жизнь с землей! Радуетса урожаю, огорчается неудачам. Но никогда не жалуется на усталость. Есть в бригаде механизаторы, которые по четвертому десятку обрабатывают поля, сеют и убирают хлеб...

Неловко было прерывать бригадира, но, извинившись, я спросил:

— Виктор Матвеевич, сколько лет вы руководите бригадой?

— Тридцатый год завершаю.

— Как вы восприняли известие о присвоении вам звания Героя Труда?

— Позвонили из райкома партии, говорят: Героя тебе присвоили! Не поверил. Жаром охватило всего, а потом в пот бросило...

— От радости?

— Нет, скорее, от большой ответственности.

Ответственность... Много раз Виктор Матвеевич Трапезников выступал инициатором социалистического соревнования за получение высоких урожаев и выходил победителем.

И мы сердечно поздравили знатного бригадира с высокой правительственной наградой.

А режиссер, дотошно расспрашивая его, полусерьезно заметила:

— С вашим опытом, Виктор Матвеевич, можно побольше участков возглавить.

Трапезников улыбнулся:

— Каждый должен быть на своем месте. Мое дело — хлеб выращивать. Поле — моя жизнь.

Вячеслав ВОЗЧИКОВ

ЗАВЕТЫ ОТЧЕГО ДОМА

Не прихоть, не ностальгическим порывом, а потребностью душевной перенес нас В. Попов в атмосферу предвоенных городских дворишков*. Сродни астафьевскому «последнему поклону» стремление писателя воскресить в памяти мир футбольных камер и речных волн, мальчишеских игр и ссор, первых прочитанных книг и самостоятельно совершенных поступков. Когда яркий фантик или необычный голубь являются синонимами счастья, когда угнетает тоска по сильному, знаменитому кумиру, и первые уроки доброты кажутся скучными и ненужными, но все-таки делают свое дело, откладываясь в сознании, формируя характер. Когда еще не пришло глубокое понимание, что живешь ты «по мандату краскомов», что оставить свой добрый след на земле очень не просто...

Словом, вот она та «удалая пора, когда живешь проходно, не задумываясь о времени, безудержно радуешься каждому идущему дню, торопишь ленивое завтра, когда чувствуешь себя всеильным и сказочно вечным». Это не из романа. Это — из опубликованного здесь же очерка «Торжество памяти», само название которого — акцент на необходимости осмысления категории времени... «Не места, а прошлое властно зовет нас к себе». Прошлое, которым «можно либо гордиться, либо от него бежать», но в любом случае носить его в себе, покуда жив. «Какое все-таки счастье, что существует память! Никто не забыт, ничто не забыто... Нет, нет, это не только о последней войне. Это обо всех, кто умел пользоваться отведенным ему судьбой временем. О тех, кто оставляет на земле свой след. Это торжество памяти». Память — наше существование во времени, умение совершать и оценивать поступки, основываясь на выработанных нравственных критериях.

Ничего этого пока нет у главных героев В. Попова. Они — дети, мальчишки и девчонки, у которых все — в будущем. В романе отсутствует держащая в напряжении интрига, сюжет прост, в основе его обыкновенные, совсем не героические будни. Однако для многих, но не для тринадцатилетнего мальчишки, пустяк — увидеть знаменитого велогонщика Дмитрия Канарейкина и говорить с ним; для многих,

но не для подростка, «ничего особенно-го» — посидеть в кабине самолета; для многих, но не для Славки Залесова, безразлично, что он не умеет нырять так же хорошо, как и его приятель... Вот это-то внимание к мелочам, умение понимать движения детской психологии, ее потребности, интересы и составляют стержень романа, увлекают читателя, несмотря на отсутствие ярко выраженного действия. Период, когда еще идет, но уже заканчивается жизнь, не осложняемая думой о времени, когда человек может жадно впитать в себя как хорошее, так и плохое, смотря что и в каком количестве окажется рядом — именно этот период интересует писателя. «Гордиться или бежать» будет человек от памяти? И кто за это в ответе?

В романе хорошо передана атмосфера тех лет, когда на уже ставшей привычной мирной жизни лежал отсвет событий гражданской войны, когда завоевания социализма соседствовали с отрицательным наследием прошлого.

Всеобщий трудовой подъем, вызванный задачами первых пятилеток, хорошо передают слова Сергея Андреевича Строкова — ведущего конструктора одного из оружейных заводов: «В наше время есть два пути — служить и действовать. Ты верно говоришь: служить — тоже дело. За это жалование платят. А за деятельность надбавки нет. Деятельность — это когда у тебя на первом плане твои обязанности. Служба больше о своих правах думает...» (с. 261). Деятелен старый рабочий Евстигней Петрович Коробейников, искренне обидевшийся на то, что ему запретили работать сверхурочно: «Мне что, из-за денег, что ли, сверхурочить надо?.. Для всех, выходит, революция не кончилась, а меня на помойку можно?» (с. 55—56). Единственно, что утешило старика, — его незываемое право трудиться на субботниках.

Под стать взрослым и дети. Не только играми да проказами заняты их головы. Проходной, на первый взгляд, эпизод: Верка и Славка встречаются со старичком, сопровождающим подводу. Однако состоявшийся при этом разговор важен как передающий настроение уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне. «Мы сами, своими руками будущее строим. Днепроеэ построили, метрополитен в Москве. Товарищ Чкалов от Москвы до Камчатки долетел, приземлился на острове Удл. Вот оно, будущее, сегодняшним и стало. Ле-

* Виктор Попов. Отчий дом. Барнаул, Алтайское книжное издательство, 1986.

тать выше всех, быстрее всех, дальше всех. Такой наш лозунг...» — говорит Славка (с. 159). Позднее, в главе 19, это ощущение причастности к великому времени скажется в словах Виктора: «О культурной революции надо думать. В этом отношении дел неупроход» (с. 214). И рассказ, как мальчики сочиняют пьесу, наполнен добрым юмором, теплым сочувствием.

Славку волнует вопрос: скоро ли будет мировая революция. И он очень удивлен, что Матвей Данилович Судаков, старейший рабочий, не разделяет его уверенности. Мечтает: «А здорово тогда будет. Весь мир запыхает в революционном огне. По-моему, раньше всего в Германии должно начаться...» (с. 244).

Но наряду с новым существует и старое. Не может забыть времена нэпа дядя Паша-жестянщик. Ждет очередных подручных Троша, промышляют воровством Венька, Богдан. Действующие исподтишка, ночью, напоминающие бандитов Антонова из рассказа-вставки. Они не думают о том, когда будет мировая революция, взгляды их обращены в прошлое. Конфликт настоящего с тем, что мешают, конечно, очень важен, но все-таки, думается, не он определяет лицо первой книги романа. Произведение, скажем так, выдержано преимущественно в светлых тонах — крепнет строящая коммунизм страна, растет поколение, которому выпадет выдержать войну. Становление, созидание — вот что, пожалуй, стало пафосом первой книги «Отчего дома». Новая жизнь, с выстраданными принципами и нравственными законами, передана отцами в наследство сыновьям.

Славка Залесов — человек настойчивый, целеустремленный. Решил научиться нырять «солдатиком», как друг Кочеток, и добился своего. Решил наказать Митьку Сизяка — терпеливо ждал удобного случая, но все-таки посадил его в подвал, в «долговую яму»... Не отказывается и поработать, особенно если за это будет похвала или какое-то другое поощрение. Перспектива прокатиться на легковушке подвигла Славку и его приятеля на явно безнадлежащую попытку перенести тяжелую связку при переезде на новую квартиру. Вполне понятные юношеские горячность и неопытность не позволили его «бригаде» отличиться на субботнике. Впрочем, и поощрение не обязательно: просто радостно видеть результаты сделанного.

И таких эпизодов, рисующих характер, в романе много. В них В. Попов предстает тонким психологом, внимательным наблюдателем, мотивация поступков весьма убедительна. Думается, чем замедленнее действие, тем увереннее чувствует себя автор. Ибо его стихия — подмечать оттенки, нюансы чувств и переживаний.

К сожалению, В. Попов продемонстрировал нам, что происходит, когда он изменяет своей стихии. Есть в романе чуть ли не детективные фрагменты, когда действие выходит на первый план, отгесняя анализ. Похоже, и писатель чувствует не слишком большую художественную убедительность увлечения Славки «законниками», поэтому пытается компенсировать это,

щедро насыщая страницы авторскими комментариями-объяснениями. Действительно, как так получилось: звезд с неба не хвативший, но хороший и добрый парнишка, искренне не понимающий, почему малыши позволяют Митьке обижать себя, увлекающийся книгами, вполне по-взрослому говорящий, что «бегает от ответа только те, кто виноват да еще трусы, которые самих себя-то боятся», — почему он становится вором? Неужели так озлобил неудачный поход за яблоками? Быть того не может, поколения мальчишек через это прошли... Большую высоту В. Попов решил взять, так сказать, без разбега. Не получилось...

По первым главам романа трудно было и предположить, что на долю Славки выпадает пройти через нарушение закона, через воровство. Вот он без раздумий соглашается на «дело», предлощенное Митькой. Автор тут же дает нам подсказку навводящими вопросами: «Мальчишеская удаль? Боязнь показаться трусом? Бездушные отчаянной решимости? А может стать, самое обыкновенное любопытство?» Однако В. Попову не хотелось бы слишком чернить своего героя, поэтому экзамен на «урку» Славка не выдержал. В той же главе какое-то воспоминание посетил вора Трошу (надо же, какая счастливая случайность!), и Славка пока остается «по сторону добра». А затем незадачливый поход за яблоками, которому в романе почему-то придается большое значение. Слов нет, хороша идея автора показать всю низость зла, заклеить его, но выбрал он для этого средства скорее из арсенала публицистики, чем художественные. Прочтем хотя бы вот это: «Он односторонне оценивал меру поступка и меру возмездия. Один казался ему незначительным, другая — крайне преувеличенной. Обыкновенное заблуждение субъективистов, которое и приводит их к убеждению, что закон — дышло».

Совершив одну ошибку, Славка тут же закрепил ее другой. Сделав заключение, он стал искать ему подтверждение, иначе говоря, подгонять жизнь под вывод» (с. 181). «Незаметно, незаметно Славкины мысли уже не цеплялись за Сизяка, а причаляли к нему вплотную... Такие соображения полнили Славку, и хотя он пока решающего шага не сделал, но созрел для него основательно» (с. 182). А ведь казалось бы, где, как не в романе, поразрабатывать конфликт, но... Выбрана линия наименьшего сопротивления. Жаль...

Возрождением Славки стал разговор с дядей Сережей на рыбалке. Тот самый Сергей Андреевич, который позднее будет выговаривать за бессмысленную жестокость племяннику, убившему дятла, сочинивший «сказочку» о народе, который предпочел голод жестокости, он на вопрос: «Стал бы я вором, попал тебе на деле, пришлось тебе стрелять. Ты бы стрельнул?» — решительно отвечает:

«— Пришил бы как собаку. На войне как на войне» (с. 275).

Да, борьба с преступностью — та же война, потому что «ворье, бандюги, всякая другая нечисть тоже против нашей власти» (с. 275). Совесть, мораль, человек-

ность — все поглотил у них один закон волчьей стаи. В этом Славке пришлось убедиться на собственном опыте. Тяжелым, униженным получился урок, навсегда развеявший иллюзии о мнимой воровской «свободе».

Не зря после чтения рукописи дяди Сережи затосковал Славка об отце — красном командире. «Затосковал Славка о живом, беспокойном, громком человеке с большими, закрученными немножко вверх, пышными, шекотными усами, о своем отце Николае Николаевиче Залесове. Как же его сейчас не хватало Славке...» (с. 307). От отца мысли перешли на вопрос: добрый он, Славка, или нет?.. А такие чувства и размышления — начало нравственного взросления.

Если детские характеры выписаны рельефно, осязаемо, то взрослым в этом отношении повезло гораздо меньше. Хотя идейная нагрузка на них возложена значительная.

Вот мать, в основе воспитательного метода которой — «взрослый должен обязательно настоять на своем. Прав старший или не прав, время рассудит, а пока...» Мать, похоже, не имеет особого влияния на формирование Славкиного характера. По крайней мере, в романе мы этого не находим. Более того, сын воспитан явно не в восточном почтении к старшим: «А что слушать мать скучно — факт. Если бы она говорила что-нибудь новенькое, а то одно и то же. А иногда и вовсе учит поступать так, а сама делает наоборот» (с. 4).

Остановимся на одном эпизоде, который кажется нам очень характерным. Славка обращается к матери с вопросом, а между ними возникает следующий диалог:

«Любовь — это всегда счастье или не всегда? По-моему, любовь вообще не счастье.

Мать посмотрела на него с любопытством, потом кивнула головой и в тон ему продолжила:

— Больше того. Любви нет, а если и есть, то она пережитки. Это сказал тебе Борька?

— Почему Борька?

— В его облике есть что-то от Аристотеля.

— Тебе бы только унижить человека.

— Ну, милый, если сравнение с Аристотелем считаешь унижением...

— Я с тобой серьезно...

— Когда хотя бы говорить серьезно, с глупостей не начинают.

— И совсем не с глупостей. Я сказал, что думаю. А это проще всего — если не знаешь как ответить, заявить: глупость...» (с. 145—146).

Прочтем еще немного:

«— Давай от печки.

— От какой печки?

— Видишь, ты даже этого не знаешь, а берешься рассуждать о материях. От печки — значит возвратиться к началу, мачать с знакомых позиций. Итак, ты говоришь, что любовь — не счастье. Так я тебя понял?

— Так.

— Что ж, вывод очень смелый, хотя и не оригинальный. Но непременно — вы-

страданный. Видимо, ты очень много пережил и перестрадал, прежде чем к нему прийти. И страдания эти лежат в твоей душе такой невыносимой ношей, что одному тебе с ней справиться невмочь. Верно?» (с. 148).

Что это — разговор матери с сыном? Не уверен, что матери согласится здесь с В. Поповым. Обсуждая сложный вопрос, не найти иных слов, кроме «книжных», — здесь писателю явно изменило чувство меры.

А вот этот абзац, полностью (полностью!) состоящий из штампов, вызывает даже досадную улыбку: «Что ж, вывод очень смелый, хотя и не оригинальный...» (см. выше). Вместе с тем, каким хорошим контрастом этим «словесным упражнениям» становятся заключительные строки четырнадцатой главы, когда в словах матери слышится теплое, человеческое: «Даже тогда, когда Николая тяжело ранило, первое отчаяние сменялось счастьем дежурить у его постели. Я засыпала в кресле и, просыпаясь, слышала, видела, что он дышит. И это для меня было счастьем обнадеживающим. А потом он поправился и первый раз прошел по палате. Это для меня уже было счастьем безмерным, потому что он опирался на мое плечо. На мое, ты понимаешь!..» (с. 149).

Но, видимо, такова уж судьба Маргариты Андреевны, мыслить и изъясняться чужими, словно заученными фразами. Возьмем эпизод, когда обнаруживаются спрятанные Славкой деньги. «Боже мой, — думала вконец истерзавшая себя Маргарита Андреевна, — какое же это торжество справедливости? Это глумление, это попрание личности, это пляска на ее свободе, на растоптанных останках ее независимости» (с. 258). Вдумчивый психолог, когда дело касается детей, здесь В. Попов почему-то даже не задается вопросом, как можно вконец «истерзать себя» и в то же время мыслить такими пышными оборотами, как «пляска на ее свободе» и т. д.

Еще цитата: «Я же сына своего люблю, я души в нем не чаю, а кто он для улицы? И все-таки она сильнее. Какая несправедливость! А почему, почему, почему? Ты, человек, который тесно сталкивался с дном, объясни мне трагическую закономерность!» (с. 262).

Вот уж действительно: говорит как пишеть...

Между тем художественная роль матери в романе могла бы быть более значительной. Все-таки она жена краскома, свидетельница героического времени — сколько нужного вошло бы в Славкину память!.. Однако не забудем: перед нами только первая книга романа.

Бесспорно, главный положительный персонаж романа дядя Сережа — Сергей Андреевич Строков. Именно он стал для Славки звеном, связующим воедино прошлое и настоящее. Дав ему прочитать отрывок из своей повести, Сергей Андреевич делает важную пометку: «Ты ведь тоже по мандату живешь. Подпись твоего отца, краскома Николая Залесова, в нем очень заметная. Разборчивая подпись. Посмотри на нее внимательно и подчеркни. С фа-

мильной гордостью подчеркни, не как-нибудь» (с. 306).

А чуть раньше, на рыбалке (глава 25), между ними состоялся серьезный разговор, где придуманной воровской «романтике» была противопоставлена четкая позиция честного человека...

Но все-таки Сергей Андреевич скорее положительный герой, чем характерный, глубоко разработанный персонаж. Произошло это, видимо, потому, что ему, как и многим, изначально отводилась автором хотя и важная, но все же вспомогательная роль. Ведь в романе всего одна линия (вставные повеллы — самостоятельные главки), отказавшись от полифонии, автор явно обднил жанр, оказался лишенным возможности всесторонне разрабатывать характеры.

В первой же части романа мы видим дядю Сережу в основном «учащим жить». Кажется, не было ни одного его появления на страницах, когда бы он не произносил фразы типа: «Истину, Пулензон, надо на руках носить, а не топтаться на ней с утра до вчерашера» (с. 24). «Хочешь что в жизни постичь — не стесняйся, спрашивай людей сведущих. И никогда не делай вид, что

знаешь, если на самом деле о том понятия не имеешь...» (с. 153) и т. д.

И все-таки при всей схематичности Сергей Андреевич Строков запоминается. Какой-то своей внутренней силой, беспощадностью ко злу. Наверняка много еще добрых людей встретится потом на пути Славки, без которых трудно ему будет представить свою жизнь. Но дядя Сережа один из первых. И его уроки нравственности — тоже одни из первых.

Первой книгой романа В. Попов сделал заявку на произведение, адресованное самой широкой аудитории. Судя по концовке, во второй книге найдут отражение события Великой Отечественной войны. Что ж, будем ждать новой встречи с героями «Отчего дома».

Кстати, почему «Отчий дом»? Ведь роман начинается с переезда из дома, где жило все семейство Залесовых, в новый дом, где придется жить только Маргарите Андреевне и Славке. Потому заголовок приобретает не конкретное, а широкое значение — речь идет о чувстве Родины, человеческого достоинства, о лучших традициях, хранимых поколениями. О том, с чем выходит человек из детства.

Владимир КАЗАКОВ

КНИГИ И ГЕРОИ

К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. СИДОРОВА



«Тайна Белого камня», «Федька Сыч теряет кличку», «Повесть о красном орленке», «Я хочу жить», «Рука дьявола», «Сокровища древнего кургана»... Одни только названия произведений В. Сидорова убеждают, что потребность сказать свое слово о наболевшем, поделиться опытом своим писатель связывает с возможностями и особенностями приключенческого жанра. Исключения составляют разве что во многом автобиографическая повесть «Я хочу жить» да отчасти «Повесть о красном орленке».

Особенности жанра определяют, разумеется, и поведение героев, их поступки и действия и весь тот социально-бытовой фон, точнее, социально-бытовую среду, в которой живут и действуют герои. А любимые герои писателя — это мальчишки и девчонки, народ, как известно, непоседливый, энергичный, жаждущий постоянных действий и самостоятельности.

Как и их живые прототипы, все они разные и по характерам, и по привычкам. Но есть у каждого из них качества, которые роднят их и сближают. Это прежде всего — доброта и отзывчивость; вера в торжество справедливости и в искренность чувств; верность дружбе и мальчишескому братству; любовь к родине и обостренное

чувство долга перед землей отцов и дедов.

К работе над своей первой повестью В. Сидоров приступил будучи уже вполне зрелым и взрослым человеком, с немалым житейским багажом, со сложившимися принципами и взглядами, чему в немалой степени способствовали и многолетняя журналистская практика, и те испытания, которые выпали на его долю. Великую Отечественную войну он вынужден был встретить прикованным к больничной койке в солнечной Евпатории в возрасте четырнадцати лет, а затем пять лет добираться до родительского порога.

Немало найдется еще и сегодня ветеранов труда, живых свидетелей, которые помнят 19-летнего слесаря Виктора Сидорова в одном из цехов старейшего предприятия города Барнаула — меланжевого комбината. Помнят его и в должности сначала сотрудника, а затем редактора комбинатской многотиражки. Да и последующие годы были отданы прежде всего журналистской работе. Именно тогда, как свидетельствует сам В. Сидоров, выполняя «задания редакции газет и телевидения... пришлось побывать в самых далеких уголках края... На его долгих, порой не очень легких дорогах найти темы для своих книг, встретить будущих героев».

Работа над воплощением замысла первого художественного произведения, безусловно, потребовала от автора, освоившего к тому времени практически все газетные жанры, иной организации труда, иного, более требовательного, что ли, ответственного отношения к материалу и слову. И все-таки самая главная трудность, уверен, заключалась в выборе героев. Это сегодня можно говорить, сколь удачно и счастливо осуществил свой выбор писатель, отдав свои симпатии мальчишкам и девчонкам, очертив тем самым круг своих последующих поисков самовыражения.

Между тем кажущаяся случайность, на наш взгляд, вполне логична и закономерна. Стоит лишь глубже вчитаться и вдуматься в содержание повести «Я хочу жить», увидевший свет в начале 70-х годов, многое станет ясным. Впрочем, разговор об этой книге впереди.

Первая повесть В. Сидорова «Тайна Белого камня» была встречена доброжелательно и заинтересованно. И это при том, что повесть явно носила печать ученичества и авторской неопытности. Нельзя было к примеру, не заметить, что автору не уда-

лось в полной мере избежать литературщины, что образы взрослых персонажей во многом условны и схематичны, а действия их не всегда мотивированы и оправданы...

Однако, перечитывая сегодня «Тайну Белого камня», нельзя также не заметить и привлекательных ее сторон: простоту и бесхитростность изложения, умение автора красочно и зримо запечатлеть природу, живой и разговорный язык героев. Да и события, которые разворачивались и происходили не в какие-то далекие времена, а буквально вчера и, что называется, под боком, подчеркивали достоверность и убедительность повествования...

Доброжелательное отношение читателей к произведению открыло начинающего писателя, помогло поверить в свои творческие возможности и, если хотите, оглядеться. А оглядевшись, увидеть типичный городской двор, окруженный безликими бетонными коробками с сотнями квартир, с чахлыми и редкими деревцами, с сиротливыми двумя-тремя песочницами. Ни воли, ни простора не было и не могло быть в таких дворах вольнолюбивым мальчишкам и девчонкам. Поэтому и вынуждены они в свободное от занятий время изнывать от безделья и скуки, не зная, куда девать бьющую через край энергию.

Все это, надо сказать, совпало с близким знакомством В. Сидорова с будничной и совсем не романтической, как оказалось на самом деле, работой органов милиции, о представителях которой автору хотелось написать нечто необычное, захватывающее. Однако о сотрудниках уголовного розыска В. Сидоров писать не стал, а следствием его близкого знакомства со стилем и методами их работы явилась повесть «Федька Сыч теряет кличку». Героями ее и стали те самые неприкаянные мальчишки, что вынуждены проводить время своих каникул в тесных и скучных городских дворах, придумывая для себя развлечения, однако далеко порой не безбидные для окружающих. И вновь, как и в первом произведении, в новой повести действие завязывается и происходит именно сегодня и не где-нибудь за тридевять земель. Стоит лишь выйти за дверь, спуститься по лестнице, и вот он двор, вот они собственной персоной Ваня Тузов и Андрей Шустов, Тимка Корольков и его сестра Светка, Федька Сыч и Заяц.

Эффект буквального, скажем так, присутствия на месте и во время происходящих событий настолько реален и физически ощутим, что создается иллюзия невольного и непосредственного участия во всем, о чем повествует автор. И причина здесь не только в достоверности повествования, но и в остроте тех социальных и нравственных проблем, которые оказались в поле зрения писателя и обусловили художественный замысел повести.

И то, что уже в начале 60-х годов писатель обратил внимание на нравственное уродство отдельных взрослых, возвысил свой голос до обличения их ущербного и безответственного отношения к своим детям, свидетельствует о его гражданской принципиальности и зрелости. Ведь те гу-

бительные ростки всеобщего благодушия, увлечения «вещизмом» и прочими «измами», зарождающиеся двадцать лет назад, обернулись в наши дни одной из самых жгучих и больших проблем.

И все-таки, прочитав повесть, не испытываешь чувства подавленности, безысходности или бессилия. Но не потому, что у нее благополучный конец: преступники разоблачены и арестованы, а главный герой вновь обретает свою подлинную фамилию. Скорее потому, что писателю удалось показать, как при желании и упорстве тесный городской двор может стать своеобразным «полем жизни» и борьбы за человеческие души. Важно найти интересное и полезное дело, в котором можно проявить свои способности, умение и самостоятельность.

Федька Сыч, потерявший было свою подлинную фамилию и вновь обретший ее, образ хотя и не безынтересный, но во многом все-таки однозначный. Иное дело Артемка Карев — главный герой «Повести о красном орленке». Вот кому полностью и безоглядно отданы симпатии писателя и читателя, разумеется.

Есть в образе главного героя этой повести нечто такое, что заставляет читателя верить в его реальное существование. Не случайно писатель получает письма, в которых читатели просят сообщить адрес любимшего героя, а одна из пионерских дружин в Подмосковье носит его имя. Факт, надо сказать, не столь уж часто встречающийся.

Чем же подкупает характер Артемки? Прежде всего бесстрашием, готовностью к самопожертвованию во имя правды. А правда эта давалась нелегко не только детям, но и взрослым, требовала четкого отношения ко всему происходящему, заставляла делать решительный и единственный выбор — в чьем стане быть, под каким знаменем воевать.

Критик Игорь Мотяшев, анализируя «Повесть о красном орленке», писал: «...изображение действительности во всей ее сложной правде никогда не бывает в ущерб идейной направленности произведения. Рисуя, как превращается в антинародную банду партизанский отряд Бубнова, как закономерная в таком случае эволюция приводит Бубнова в лагерь колчаковцев, В. Сидоров помогает маленькому читателю уяснить разницу между подлинной революционностью и анархическим бунтарством... идейной убежденностью и нравственной опустошенностью... Такие книги — героико-романтические по духу, захватывающие по самому материалу жизни, положенному в их основу, — крайне нужны*». Добавим от себя: «Повесть о красном орленке», издававшаяся не однажды не только на Алтае, и сегодня одно из популярных произведений. И, думается, долго еще будет радовать и удивлять юных читателей, ибо такое уж свойство и назначение всех правдивых, честных и незаурядных книг.

И в появившейся позднее повести «Рука дьявола» уже в самом названии тоже

* «Сибирские огни», 1967, № 4.

чувствуется пристрастие автора к жанру приключенческому. Однако справедливости ради надо сказать, что это не самое заметное произведение В. Сидорова. Сказались, видимо, инерция собственного стиля, некоторая поспешность и заданность. Так, интересы, скажем, молодежи на селе двадцатых годов, ее усилия по организации комсомольской ячейки, вклад в укрепление Советской власти, участие в ломке привычного и устоявшегося уклада — все это должно и могло быть раскрыто и ярче, и полнокровнее, и объемнее, что ли. Тем более, что тема эта не нашла пока глубокого и сколько-нибудь предметного воплощения в творчестве алтайских писателей. Однако отгадим должное автору и за то, что он в какой-то мере помог представить и почувствовать драматизм и героизм далеких и неповторимых лет первого десятилетия Республики Советов.

И если «Рука дьявола» — своеобразное продолжение «Повести о красном орленке», то книги «Я хочу жить» и «Озеро, которого не было» и по жанровым особенностям, и по содержанию из другого ряда.

Так, повесть «Я хочу жить» — это скорее дневник, ибо все, о чем повествует автор, в основе своей автобиографично, испытано и пережито им самим, что, впрочем, ничуть не умаляет ее художественных достоинств. Более того, форма дневниковых записей позволяет еще глубже подчеркнуть достоверность, остроту и драматичность происходящих событий.

В коротких главах-записях героя вместились столько отчаяния, боли и тоски по дому, столько надежд на то, что придет день и отступят болезни, приковавшие его к больной койке. Нет, автор не драматизирует события, не нагнетает и не сгущает краски, а даже многое, думается, не договаривает, стараясь акцентировать внимание на тех деталях и подробностях, которые могли бы убедить читателей в возможностях героев.

Возможности эти обусловлены прежде всего заботой Родины и государства о попавших в беду своих детях, которые находились в санатории на южном берегу Крыма, где их не только пытаются поставить на ноги в буквальном смысле этого слова, но и сделать все возможное, чтобы не прерывать учебы. Занятия для них так же обязательны, как и в любой школе. Нужно ли говорить, сколько терпения, доброты, внимания должны были проявлять все те, кто призван был вернуть здоровье Саше Чеканову и его товарищам. И кто знает, от скольких обид, горьких минут отчаянья, нервных потрясений избавили ребят такие люди, как Сергей Львович — заведующий отделением, дядя Вася — санитар, Самуил Юрьевич — преподаватель математики и участник боев в Испании, Ольга Федоровна — дежурная сестра, умеющие вовремя сказать доброе и ласковое слово, вызвать на откровенный разговор, проявить заботу и участие не по долгу службы, а по складу своей души и характера. Все это тем более важно, что их подопечные отнюдь не пай-мальчики и девочки. Зачастую их кажутся безобидными

и естественными шалости, словесные перепалки и подшучивания друг над другом перерастали в столкновения характеров со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Стремление к лидерству и превосходству, добродушие и беззлобность, мечтательность и увлеченность, корысть и крохоборство — со всем этим пришлось столкнуться главному герою повести, увидеть, узнать, прочувствовать не с чужих-то слов, не со стороны, а, что называется, из первых рук.

Наверное, следовало бы более подробно остановиться на умении автора увидеть в однообразной в общем-то жизни героев иную, глубинную, одухотворенную и деятельную жизнь, показать столкновения характеров, несколькими штрихами воссоздать портреты действующих лиц, настоящую и неповторимую сущность их натуры... Все это в повести есть. И качеств этих у нее не отнимешь, как не отнимешь и права прибавить к известным всему миру фактам и доказательствам звериной сущности возрождающегося вновь фашизма — свидетельство страданий, страха и бессилия, испытываемых беззащитными и беспомощными детьми во время артиллерийских обстрелов и бомбежек, гибели главного героя Саши Чеканова, прикрывшего своим телом от фашистской пули еще более беспомощного и меньшего по возрасту своего тезку...

Отрадным и неожиданным откровением для меня явились рассказы В. Сидорова, небольшие по объему, но глубокие и емкие по содержанию, волнующие своей социальной остротой и зрелостью.

И если принято считать, что рассказ — один из наиболее трудных жанров, ибо требует от рассказчика предельной собранности, зоркости, безусловного чувства слова, то лучшие, на мой взгляд, рассказы В. Сидорова — «Лошадка», «Димка-буксир», «Гости», «Весельчак», «Барышня «Зеленый огурец» — не только доказательство мастерства писателя, но и его больших творческих возможностей. Воспроизводит на нескольких страницах хотя бы даже часть жизни своих маленьких героев, да так ярко и достоверно, что они надолго остаются в памяти, значит, обладать помимо писательского дара еще и даром любви к детям, способностью читать их души, видеть в них полноценных граждан, понимать и принимать близко к сердцу их радости и тревоги, печали и заботы, удачи и поражения.

И еще об одной существенной, как мне кажется, особенности рассказов В. Сидорова... Поскольку главными героями в них в большинстве случаев являются дети, казалось бы, и адресованы они детям. Но не в меньшей степени и взрослым. В отдельных рассказах это явно прочитывается, во многих звучит подспудно, как бы между строк. В целом же как бы ни прочитывалось и ни звучало, писатель не скрывает, на чьей он стороне в борьбе со злом и несправедливостью...

В середине 70-х годов отдел культуры крайкома партии организовал поездку большой группы писателей, художников, журналистов на строительство Кулундин-

ской оросительной системы. Нужно было видеть, с каким азартом и с какой дотошностью вникал Виктор Сидоров во все подробности разворачивающегося строительства, засыпая многочисленными вопросами авторов проекта. Чувствовалось, что писатель давно вынашивает замысел, связанный с приходом большой воды в степь, и встреча с проектировщиками и строителями канала для него как нельзя кстати.

Любопытна и следующая деталь... Повесть имеет, помимо интригующего названия, еще и подзаголовок: «Некоторые важные события из жизни Константина Петровича Брыскина, а также его размышления по поводу этих событий». Подобное совмещение может показаться странным. В названии повести автор обещает поведать о каких-то неизвестных доселе сокровищах, а в подзаголовке налицо ирония по поводу некоторых важных событий некоего Константина Петровича со столь не героической и несерьезной фамилией — Брыскин.

Между тем Костя Брыскин, как окажется, интересный парень. Живет он в степном алтайском селе Ключи. «Название красивое, да пустое, — как утверждает Костя. — Никаких ключей в селе нет. Да что там ключей! Захудалой лужи и то не найдешь, шагай хоть неделю в любую сторону... Степь и степь без конца и края. Ни холма, ни деревца...»

Заметим, кстати, что повествование ведется от первого лица. Однако в отличие от повести «Я хочу жить» откровения Кости не укладываются в рамки дневника. Это скорее размышления о себе, о своих друзьях и товарищах, о первом своем чувстве к сокласснице Эвке Юхтановой. И эти отношения, а точнее чувства, которые испытывает Костя Брыскин к Эвке, являются одной из основных сюжетных линий. Именно эти чувства и подвинули Костю приступить к раскопкам древнего захоронения неподалеку от села, ревниво относиться к возникшей вдруг дружбе Эвки и приехавшего на лето из города Игоря Денисова, играющего роль эдакого бой-парня и не скрывающего своего превосходства перед деревенскими ребятами.

Возникшее и крепнущее чувство первой любви помогает Косте быть не только упрямым и настойчивым в достижении своей цели, но и другими глазами посмотреть на себя, на свои Ключи, задуматься о своей дальнейшей судьбе. Мелочными кажутся вчерашние обиды и ссоры с товарищами, даже поражение в драке с Игорем, в которой Косте изрядно досталось,

хотя и обидело, уязвило до слез, но не вызвало чувства мести. А в день отъезда Игоря, когда он попытался извиниться, стало Косте «вдруг грустно и жалко» своего «соперника» и не захотелось «быть на его месте». Не захотелось еще и потому, что к этому времени окончательно определилась цель жизни — стать мелниратором.

И если бы можно вообразить невозможное — свести в один круг героев писателя из всех его произведений, то с главными из них, о которых говорилось выше, Костя Брыскин и Эвка Юхтанова, их соклассники — Юрка Снопков (Детеныш), Пашка Клоня, Колька Денисов, Алька Лапин (Карасин), Лиля Кашина (Буланка), безусловно, нашли бы и общий язык, и стали настоящими друзьями. Во-первых, потому, что все они плод любви, радостей и печалей писателя; во-вторых, светлы и чисты их сердца и души; в третьих, живы, правдоподобны и непосредственны в своих действиях и поступках...

Допускаю, что в разговоре о характерных, на мой взгляд, художественных особенностях произведений В. Сидорова многое осталось за рамками статьи, что-то наверняка не увиделось или не показалось... Так, скажем, следовало бы подробнее остановиться на особенностях языка. Заслуживает отдельного исследования юмор, лукавая усмешка писателя.

Однако юмор, наличие в языке местных говоров, специфических словечек и терминов — это не самоцель писателя, а вполне осознанный прием, своеобразная система художественных и изобразительных средств, помогающих глубже и ярче раскрыть образы, характеры героев. Именно это во многом определяет «лица» не общее выражение сидоровских рассказов и повестей. И читатель ему за это благодарен.

«Просим передать наше горячее спасибо... В. С. Сидорову за его интересные и правдивые книги.

Я пишу это письмо от имени своих учеников, которые очень любят «Повесть о красном орленке» и другие произведения этого одаренного писателя.

Ребята ценят их за правдивость, яркость, занимательность, хорошее знание жизни...»

Такое вот письмо прислала в Алтайскую писательскую организацию учительница Евгения Семеновна Попова из города Барабинска. И подобных писем немало. Думается, более высокой оценки, чем читательское признание, не может быть. И это самое дорогое, к чему стремился и о чем мечтал писатель!

ОТ РЕДАКЦИИ:

Виктор Степанович Сидоров не дожид до своего юбилея менее двух месяцев — преждевременная смерть не дала ему осуществить всего задуманного, остались незавершенными рассказы и повесть, над которой работал он, пока хватало сил... Но то, что сделано писателем, остается жить и будет долго еще радовать, волновать читателя и звать его к добру.

Виктор ПЛЕСОВСКИЙ

ОТ ВЕСНЫ И ДО ЗИМЫ



АПРЕЛЬ

К нам во двор пришел апрель
В кепке и галошах.
Он принес с собой капель
И денек хороший.

Запустил во двор весну
И прибрал салазки.
В небо ясное плеснул
Голубые краски.

И ребятам дал понять:
Лужи на дороге.
Чтоб таблетки не глотать,
Не мочите ноги.



ПОЧЕМУ ЗАЙЧОНОК ХОДИТ НА КОСТЫЛЯХ

— Алло! Звонит лисица!
Несчастье у зверей...
Пришлите из больницы
К нам доктора скорей.

На тракте у сосенок
Машиной сбит зайчонок.

Горюет заяц-пана,
И горько плачет мать:
Ушиб наш зайка лапу —
Как будет он гулять?..



КТО ОН!

Он жизнь из семечка начал,
Он вырос в огороде.
Все лето солнышко встречал
На алом небосводе.

Когда под солнцем повзрослел,
Раскинул листья шире,
Он шляпу желтую надел —
Единственную в мире.

В осенний день, когда во мгле
Холодный дождик капал,
К своей единственной ноге
Склонил он низко шляпу.

Уж очень солнышко любил
Наш огородный житель,
А как зовут его, забыл...
Ребята, подскажите.

ОТГАДАЙ

Растет на огороде...
Повсюду и всегда
Считается в народе
Как лучшая еда.

Вверху ботва, цветочки...
Их люди не едят.
В земле гнездо. Клубочки
В нем рядышком лежат.

Копнешь гнездо немножко
И выглянет..... .

**К НАМ ЗИМА
ПРИШЛА ВО ДВОР**

Лишь вчера поля желтели,
И горел багрянцем лес,
А под утро полетели
Хлопья белые с небес.
Потеплей оделся Гриша,
Ворот шубки приподнял,
На крыльцо скорее вышел
И зиме вот так сказал:
— Здравствуй, зимушка-зима!
Ты не лезь, зима, в дома.
Нам не нужен холод твой —
Лучше вьюгой снеговой
Намети сугроб повыше,
Чтоб ребятам прыгать с крыши!

**КАК МЫ ВЫЯСНЯЛИ
ОТНОШЕНИЯ**

Живет у нас собака,
Ученая притом:
Облает тебя всяко,
Потом вертит хвостом.

Спросил я как-то Тошку:
— Скажи мне правду, пес,
Ты это понарошку
Или грозишь всерьез?

Мне кажется — ты злюка,
А может, все же нет?!
А пес лизнул мне руку
Признательно в ответ.



ИИ



и!



Цена 50 коп.

На 1-й странице обложки:
Худ. А. Емельянов. «Старый дом».